

Per. A-1169
-481



TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI

TOIMETISED

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ACTA ET COMMENTATIONES UNIVERSITATIS TARTUENSIS

481

СЕМИОТИКА УСТНОЙ РЕЧИ

Лингвистическая семантика
и семиотика II

Per. A-1169
-481

IV кк.с.?

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI TOIMETISED
УЧЕННЫЕ ЗАПИСКИ
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ACTA ET COMMENTATIONES UNIVERSITATIS TARTUENSIS
ALUSTATUD 1893.a. VIHK 481 ВЫПУСК ОСНОВАНЫ В 1893.g.

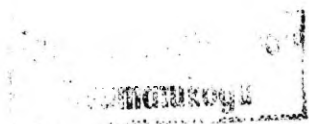
СЕМИОТИКА УСТНОЙ РЕЧИ

Лингвистическая семантика
и семиотика II

ТАРТУ 1979

Редакционная коллегия:

Б.М. Гаспаров, П.С. Сигалов, М.А. Шелякин (отв. редактор)



СИТУАТИВНОСТЬ УСТНОЙ РЕЧИ КАК ФАКТОР НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ

М.А.Шелякин

I

Одной из особенностей устной речи является, как известно, ее ситуативность, понимаемая исследователями по-разному. Это либо предметная обстановка речи, определяющая выбор состава языковых средств (лексических, синтаксических) в зависимости от "видимых" реалий, либо общая обстановка речи, влияющая на отбор языковых средств в зависимости от характера протекания речи (диалогической – монологической, официальной – неофициальной и т.д.), см. об этом (10, 56–62). Назовем первый тип ситуативности предметной ситуативностью, второй тип – коммуникативно-речевой. Существует и третий аспект ситуативности устной речи – пресуппозиция как предварительное знание собеседников о том, о чем сообщается, и влияющая установку на информативность языковых средств. По сути дела, этот аспект ситуативности является доминирующим в устной речи, подчиняя два предыдущих и отличая вообще устную речь от письменной, кодифицированной, где "все информативно". Ведь предметная и коммуникативно-речевая ситуативность выдвигается в пресуппозицию в качестве ее разновидностей и приводит к меньшей информативности языковых средств, соотносительных с ними, по сравнению с информативностью языковых средств в письменной речи, берущих на себя всю полноту коммуникативной нагрузки при отсутствии какой-либо ситуативности.

Понимание ситуативности устной речи как пресуппозиции, как предварительного в широком смысле слова знания об исходности коммуникативного намерения и задания в большей степени соответствует коммуникативной сущности языка, чем понимание ситуативности лишь в предметном или речевом плане, ибо всякая речь прежде всего направлена на сообщение новой информации. В терминах теории актуального членения предметная пресуппозиция представляет собой только тему, которая нуждается в информативной реме, поэтому номинация предметной ситуации в устной речи так разнообразна: ср. широкое использование в

ней дейктических средств, эллипсисов, всякого рода семантических компрессий и т.д. Подобное разделение содержания речи на тему и рему свойственно и предситуативно обусловленной пресуппозиции, когда обобщенная осведомленность говорящих о предситуации незримо присутствует в речи и предваряет содержание коммуникации.

Таким образом, в устной речи в силу ее ситуативности языковые средства различаются по степени своей информативности, что дает простор для широкого "выхода" эмоционально-экспрессивной или вообще стилистической орнаментовки речи и других ее свойств. Ведь с точки зрения теории информации информативно то, что уменьшает или снимает известную неопределенность либо в другой интерпретации отражает разнообразие. Если неопределенность уже снята самой ситуативностью речи, то на первый план выступает уже чисто прагматическая сторона информации.

Многое в своеобразии языковых средств устной речи объясняется, на наш взгляд, вышеуказанной ее ситуативностью, в том числе и особенности функционирования грамматических форм. Для определения этих особенностей следует остановиться на вопросе о функциональной сущности грамматических категорий в структуре языка и речи.

Функциональная сущность грамматических категорий сводится по крайней мере к трем их значениям. Во-первых, они выступают в качестве средства воспроизведения конкретного в мышлении и речи, являясь абстрактными определителями лексических значений, так как "духовно конкретное", по словам К.Маркса, есть синтез многих определений, единство многообразного (13/727). Ср. у В.И.Ленина: "Бесконечная сумма общих понятий, законов, etc. дает конкретное в его полноте" (II/252). В этом и заключается актуализирующая функция грамматических значений, позволяющая связать виртуальные значения системы языка с конкретно-предметными ситуациями. См. об актуализирующей функции грамматических категорий у Ш. Балли (2/93), а также следующее понимание назначения грамматических элементов в системе языка у С.Д.Кацнельсона: "Уточняя содержание полнозначных слов, грамматические формы придают абстрактным денотативным значениям более конкретные референциальные черты и уточняют отношения между ними в предложении" (6/70). Во-вторых, грамматические категории формируют логико-

грамматическую семантику частей речи. В-третьих, они уста-
навливают отношения между предметами мысли и синтаксически
организуют связность речи. Все перечисленные функции и опре-
деляют облигаторность их выражения в каждом акте речи, но это
не означает, что каждый акт речи нуждается во всех трех на-
значения грамматических категорий. Так, уже была замечена
связь актуализирующей функции грамматических категорий с вы-
сказываниями реального модального плана и ее нейтрализация в
высказываниях виртуального плана, когда речь идет об обоб-
щенных свойствах предметов или явлений действительности. Ср.
водн/води - хищное/хищные животное/животные, обезличивающую
функцию видо-временных форм - по-русски скажут/говорят так-
то и др. В подобных высказываниях грамматические формы чи-
сла, вида, времени теряют актуализирующую информативность и
в принципе могут замещать друг друга без изменения основно-
го содержания сообщаемого. Это одно из условий нейтрализации
грамматических значений, приводящих часто к синонимии упо-
требления грамматических форм.

Другим условием нейтрализации актуализирующих функций
грамматических значений уже в плане реального модального пла-
на является несовместимость их с коммуникативным содержанием
высказывания, когда отсутствует определенность денотативной
соотнесенности грамматических значений. Мы имеем в виду вы-
сказывания типа "У вас есть дети? - Да, один сын", в которых
форма мн.числа употреблена не в значении расчлененной мно-
жественности, а в значении количественной неопределенности,
что и естественно с точки зрения содержания заданного вопро-
са. Здесь используется остаточный признак инвариантного зна-
чения формы множественного числа (неопределенного множества)
- неопределенность, сближающаяся с функцией неопределенного
артикля в "артиклевых" языках (см.16). Много примеров на та-
кой тип употребления формы мн.числа приводится Е.Н.Прокопо-
вич, которая справедливо усматривает в них "нерасчлененное
значение единичности - множественности", соотносительное с
неопределенно-личными предложениями (18/160): ср. " - К то-
му же у него дезертиры шинель уперли" (Н.Островский. Как за-
калялась сталь); "Когда я пришел в себя, коробка исчезла.
Должно быть, ее выбросили санитары. Или сестра" (К.Паустов -
ский. Бриз); "Отца твоего, командира полка, погубили волча-
ковцы в Сибири в гражданскую войну" (А.Первенцев. Честь с мо-

лodu) и др. Неосведомленность говорящего в количественной определенности лиц и приводит к нейтрализованному употреблению формы мн. числа. Но в ряде случаев, как и при использовании неопределенно-личных предложений, подобное функционирование формы мн. числа может быть вызвано и намеренным снятием количественной определенности, и контекст, как и в предыдущем типе, приобретает характер отвлеченности от индивидуального: "А тут звонят мне на работу геологи и говорят: "Вам к празднику из Москвы посылка, придите, заберите ее". (из газет, фраза могла быть сказана и одним лицом). Намеренное устранение количественной определенности в целях уже обобщенной типизации ярко проявляется в употреблении форм мн. числа в газетном языке по отношению к одному лицу: ср. "Советские писатели за рубежом. По приглашению ассоциации "Беликобритания - СССР" из Москвы в Лондон вылетел советский поэт Андрей Вознесенский" (18/154).

Во всех отмеченных условиях нейтрализации грамматических значений фактор ситуативности отсутствует: нейтрализация обусловлена особенностями семантико-коммуникативного содержания высказываний, передающих неопределенность относительно актуализирующих значений грамматических категорий.

Иные условия нейтрализации грамматических значений представляет собой ситуативность устной речи, как она была определена выше. Но сначала рассмотрим решение этого вопроса в научной литературе. В ней уже отмечалось два типа употребления словоформ, характерных для устной речи: большая свобода замещения ими различных позиций (ср. широкую сферу функционирования именительного падежа) в силу немаркированности одного из членов противопоставления и более многочисленные, по сравнению с кодифицированным литературным языком, случаи экспрессивного переносного употребления грамматических значений под влиянием личного характера устной коммуникации (17/154). Если вторая интерпретация случаев большего функционального перекрещивания грамматических форм в устной речи убедительна с точки зрения эгоцентричности ряда грамматических категорий (лица, времени, наклонения) и самой устной речи, то этого нельзя сказать о первой интерпретации, так как она постулирует многозначные (омонимичные) немаркированные члены. Так, например, Е.Н.Прокопович заметила, что в разговорной речи широко распространено употребление форм мн. числа по отношению к

одному лицу в определенном контекстуальном окружении, и считает на этом основании, что они обозначают не множество, а один предмет, с экспрессией высказывания или ярким оттенком обобщенности (I8/I56 и далее, I59 и далее), ср. "Вы тут обещали, а нас по милициям водили" (А.Макаренко. Педагогическая поэма); "А другому тоже некогда. У него в руках большой фикус в вагоне... -Ах, боже мой, еще фикусы с собой возят. Куда же он с ним денется?" (В.Катаев. Время, вперед!); "И чему только тебя в университетах учили - неизвестно" (из устной речи); "-Мы вот дома сидим, а вы по театрам ходите" (из устной речи); "-Вы давно были на могиле Борисова-Мусатова? - спросил меня Леонтий Назарович... - Прошлой осенью. - Что же это вы? - сказал с упреком Леонтий Назарович. - Знаменитых своих земляков забываете" (К.Паустовский. Уснувший мальчик); "Вы, Николай, вероятно, хорошо плаваете? - Да ни чего, держусь на воде. - Ну, пойдете, посмотрим, как плавают моряки" (из фильма); "В дверь просунулся Яков Узелков.- Можно? - Нельзя, - сказал Венька, и, выглянув в коридор, строго отчитал постовых: зачем они пропускают разных граждан с улицы? - Я не с улицы, - закричал Узелков. - Я представитель прессы. - Представители пусть приходят утром, - сказал Венька" (П.Нилин. Жестокость).

Во всех приведенных примерах Е.Н.Прокопович характеризует формы мн. числа как выражающие нерасчлененное значение единичности - множественности, которое благодаря контексту становится определенным, обозначая одно лицо или предмет (I8/I6I). В качестве подкрепляющего доказательства исследовательница обращает внимание на функционально параллельное употребление неопределенно-личных предложений типа: "Отправилась узнавать о результатах конкурса на сценарий; мне сказали, что конкурс признан несостоявшимся" (М.Шагинян. Две - вники); "И принялся он стонать еще громче. - Замолчи, симулянт, - сказали с верхней полки" (В.Панова. Спутники); "Притом на войне, в траншее, ребята дали мне трубку полевого телефона: - Иди, разговаривай. Сводку просят. - Из трубки беззаботно спросили: - Кто отличился в бою?" (из газет).

Иначе рассматривает проблему "немаркированного множественного числа" в русском языке И.И.Ревзин (I6). По его мнению, категория числа русского языка совмещает два бинарных противопоставления: множественности/немножественности и оп-

ределенности/неопределенности. Они могут нейтрализоваться. Нейтрализация первого противопоставления приводит к выдвиганию второго противопоставления и наоборот. Следовательно, И.И.Ревзин взаимоисключает эти два типа противопоставления форм числа при их нейтрализации, что представляется правильным. Действительно, если не смешивать значение грамматической формы и значение контекста и не переносить их друг на друга, то при отнесении мн.числа к одному предмету оно остается в своей нейтрализующей функции неопределенности и не приобретает значения определенности, так как по известному семиотическому закону не отношение знака к референту задает значение, а значение (смысл) однозначно определяет номинацию референта. Вот почему нам думается, что было бы несколько преувеличенным или сильным утверждение о полном параллелизме значения неопределенности, выражаемого формой мн. числа при нейтрализации множественности/немножественности и неопределенным артиклем. Ведь в неопределенном артикле уже заложен количественный признак одного предмета (см. об этом I4), чего нет в неопределенном значении мн.числа. И только в случае недвусмысленного отнесения формы мн.числа к одному предмету, она функционально приближается к неопределенному артиклю, но, повторяем, при условии обозначения одного предмета другими средствами. Именно приближается, а не становится тождественной неопределенному артиклю. Не останавливаясь на этом вопросе в деталях, отметим лишь, что неопределенность мн.числа, как основанная на количественной неопределенности, в буквальном смысле есть значение неопределенности, в отличие от выделяющей и фиксирующей функции неопределенного артикля. Это означает, что неопределенность мн.числа всегда связана с выражением неконкретизированности предмета, которая может вызываться различными причинами (неизвестностью, несущественностью конкретизации), т.е. она напоминает функции русских неопределенных местоимений (см.23).

Когда же предмет уже ситуативно представлен или известен для говорящих во всей его определенности и индивидуальности, как это бывает при непосредственной устной коммуникации, то употребление формы ед.числа становится избыточным и говорящий может использовать форму множественного числа не столько для выражения неопределенности, сколько для усиления экспрессивности высказывания. Происходит нейтрализация, но

нейтрализация как по признаку множественности/немножественности, так и по признаку определенности/неопределенности. Форма мн.числа становится стилистическим маркером эмоционально-экспрессивного характера, без каких-либо "остаточных" семантических признаков. Подобный переход из семантической сферы в сферу чисто эмоционально-экспрессивных средств наблюдается и при употреблении неопределенных местоимений и артиклей, особенно когда их относят к собственным именам. Ср. "Всегда на дороге будет стоять кто-нибудь другой. Чужой, ненужный, неприятный. Какой-нибудь Цветухин (Федин. Первые радости); "По-вашему, Рудин Тартюф какой-то" (Тургенев. Рудин); "Он поднял голову - и узрел одного из своих многочисленных московских знакомых, некого Бамбаева" (Тургенев). Но ср. функцию формы мн.числа в примере, приведенном И.И.Ревзиным: "У нас не то что в америках" (16/107) - речь идет об одной Америке (возможна замена - у нас не то, что в какой-то Америке). Под эту стилистическую функцию мн.числа и попадают соответствующие примеры Е.Н.Прокопович: "В комендантской говорят ему: -На Дальнем Востоке и в Манчжурии белогвардейские восстания, товарищ. Мы не имеем времени отправлять какие-то экспедиции с буддами" (Вс.Иванов. Возвращение Будды), имеется в виду одна экспедиция, везущая статую Будды.

В качестве пресуппозиции, определяющей однозначное понимание денотативной отнесенности высказывания и стилистическое использование мн.числа, могут служить и привычные для говорящих реалии: водят обычно в одно отделение милиции, а не по многим; учатся в одном университете; ходят каждый раз в один театр, а не одновременно во многие, - поэтому высказывания "а нас по милициям водили", "и чему только тебя в университетах учили", "мы вот дома сидим, а вы по театрам ходите" и др., как правило, не воспринимаются в буквальном, "множественном", или неопределенном смысле и несут печать сниженной экспрессии. Однако последняя, именно сниженная экспрессия, необязательна для любого стилистического употребления форм мн.числа. Здесь многое зависит от лексики, интонирования, наличия других эмоционально-экспрессивных средств, т.е. сам диапазон стилистики мн.числа, можно сказать, безграничен. Ср., например, положительную экспрессию в следующем предложении: "-Вот, рекомендую Вам, - сказал Пластунов, - мастера кузнечного цеха Лесогорского завода Ивана Степановича Лосева."

Уральцы, как видите, едут нам помогать" (А.Караваева. Родной дом). Пожалуй, объединяет все высказывания со стилистической функцией мн.числа характер возведения сообщаемого в общий принцип, до обобщения, но вряд ли он содержит признак неопределенности, скорее являясь "остаточным" от последнего.

Для полного понимания нейтрализации грамматических значений числа в устной речи следует остановиться на одном принципиальном вопросе — почему при ситуативной множественности не происходит нейтрализация грамматических форм и не наблюдается их синонимия? Ведь в реальной обстановке речи ситуативным может быть не только один предмет, но и множество предметов. И казалось бы, все должно быть "наоборот" — форма ед.числа должна бы обозначать реальную множественность. Думается, что дело здесь заключается в семантической простоте/сложности грамматических значений, которые обладают разной степенью свободы элиминирования от актуализирующих функций. Действительно, мн.число оказывается семантически проще, чем значение единственного числа: множество (расчлененность) состоит из единичных предметов, но единичность (нерасчлененность) не состоит из множества предметов. Поэтому, кстати говоря, множество может быть представлено единичностью / ср. синекдоху/, но не наоборот. Семантическая простота мн.числа и сложность ед.числа согласуется с отмеченным фактом семантической простоты и сложности параметрических прилагательных: прилагательные со значением большого полюса (глубокий, высокий) проще, чем прилагательные со значением малого полюса (низкий, мелкий), обладающие свойством предельности (I/66, 303). Аналогично значение ед.числа является предельным и поэтому более сложным, а значение мн.числа — непредельным и поэтому более простым.

Таким образом, на примере анализа категории числа можно утверждать, что ситуативность устной речи освобождает семантически простые формы грамматических значений от их актуализирующих функций, превращая их в дополнительные, чисто прагматические средства. Конечно, это касается тех грамматических значений, которые имеют свои соответствия в автосемiotической сфере ситуативности. Кроме категории числа, одной из таких категорий является глагольный вид. Ниже рассмотрим его с точки зрения затронутой проблематики.

Аспектологи давно заметили, что в изолированных вопросах, принадлежащих сфере устной речи, выбор видовых форм часто бывает произвольным. Так, Э.Кошмидер (в работе 1934 года) приводит следующие примеры: "Почему Г. принимал участие в охоте? - Почему принял участие...?"; "Господа уже заказыва - ли? - заказали? - когда официант в ресторане спрашивает посетителей, сделан ли уже заказ; "Ты заводил/завел/ часы?", "Какое ты принимал/принял/ лекарство?", "Где вы провели/про- водили/ каникулы?" и др. (8/154). Была также замечено, что в таких случаях речь идет о действиях, которые ситуативно представлены как совершенные (там же/122). Ф.Копечный объясняет употребление формы несовершенного вида по отношению к ситуации совершенного вида немаркированным характером первого /"несовершенный вид выражает просто качество глагольного действия"/ и ненужностью обозначения ситуативного результата особой маркированной формой (7/197). Напротив, Х.К.Серенсен, возражая Э.Кошмидеру, считает, что нужно говорить не о смещении или произвольности употребления видов, а о включении (импликации) совершенного вида в значение несовершенного вида, который вообще способен заменять совершенный вид (19 / 187). В более поздней своей работе Э.Кошмидер возвращается к данной проблеме и рассматривает ее с точки зрения нейтрализации видовых различий, правда, не показывая самого механизма этой нейтрализации (9/391).

На наш взгляд, в истолковании синонимического употребления видов ближе к истине Э.Кошмидер, а в определении его условий - Ф.Копечный, обративший внимание на необязательность обозначения ситуативного результата избыточной формой. Как и при категории числа, здесь мы имеем дело с потерей актуализирующих функций видовых форм, когда они сталкиваются с ситуативной совершенностью. Обратное соотношение - ситуативная несовершенность и синонимия видов - невозможна по тем же причинам, по каким ситуативную множественность нельзя обозначить формой ед.числа: форма несовершенного вида семантически проще, чем форма совершенного вида, что не требует особого доказательства, так как значение совершенного вида предполагает онтологически действие несовершенного вида, а не наоборот.

Нейтрализация видовых значений при ситуативной совершенности ведет к употреблению формы несовершенного вида в функции названия "просто качества глагольного действия", без "остаточных" семантических признаков. И в этом есть свой прагматический смысл. Как показано в работе (20), форма несовершенного вида в номинативной функции всегда стилистически рельефна, эмоционально окрашена, модально разнообразна, что несомненно связано с обозначением действия как такового, лишенного видовой характеристики. Ср. также следующую характеристику А.Мазоном употребления инфинитива несовершенного вида при ситуации уже обозначенного действия совершенного вида в вопросно-ответном диалоге: "Послушай-ка, Хорь, - говорил я ему, - отчего ты не откупишься от своего барина?" ("Записки охотника", Хорь и Калиныч). Ответная реплика: "А для чего мне откупаться?" (там же) - вновь называет тот же самый факт, представляя его, однако, в неопределенной и общей форме и поднимая принципиальный вопрос, связанный с его реализацией. Аналогично: "Подождите еще немножко, - умоляющим голосом произнесла Акулина, - Чего ждать?. Ведь уж я простился с тобой" ("Записки охотника". Свидание); "Я с ума сойду от радости. - Вот! Есть от чего с ума сходить!" ("Гроза", II,3) (12/100). Ф.Копечный в уже цитированной работе отмечает, что "мы употребляем несовершенный вид при вопросе, касающемся производителя действия (он имеет непосредственное отношение к качеству действия), когда результат действия дан самой ситуацией: "Кто писал вам это (картину и т.п.)?"; "у кого ты это брал?" - спрашиваем мы того, кто вернулся с (ожидаемой) покупкой" (7/197). Однако "форму совершенного вида мы употребим только в том случае, когда внимание специально обращается на результат действия ("Хорошо же он вам это написал!") или когда результат оказывается неожиданным и поэтому обращает на себя внимание ("Кто же это тебе дал?") (там же /198).

Можно выделить следующие основные типы ситуативности устной речи, при которой допускается синонимичное употребление формы совершенного вида и формы несовершенного вида в чисто номинативной функции. Причем обычной является именно последняя.

I. Ситуативное наличие результата: Кто строил/построил этот дом? Кто шил/сшил вам этот костюм? Кто покупал/купил

эти билеты? и под.

2. Ситуативная обусловленность, ожидаемость (имплицит - ность) соответствующего целостного действия: Вы уже заказы вали/заказали? - в ресторане; Вы приглашали/пригласили еще кого-нибудь? - в ситуации ожидания гостей; Что тебе брать / взять на второе? - в столовой; Как послать/послать вам письмо: авиа или простым? - на почте; Вы выходите? - в трамвае.

Много примеров из диалогической речи на употребление несовершенного вида при ситуативном наличии результата или ситуативной обусловленности целостного действия приводит О.П. Рассудова (15). Исследовательница подчеркивает, что "употребление несовершенного вида характерно для разговорной речи и часто сопровождается большим интересом говорящего к лицу, производившему действию, к месту, объекту и т.д. (как бы его подчеркнутой личной заинтересованностью). Например, обращение к прохожему на улице: Простите, где вы покупали апельсины? - Говорящий хочет узнать, где продаются апельсины, вероятно, он хочет купить их. Человек, который ищет бумагу, видя ее у своего собеседника, может обратиться к нему с таким вопросом: Где вы брали бумагу, в каком шкафу?... Во всех приведенных примерах можно было бы, однако, употребить и совершенный вид. Сравните: Где ты купил/покупал зимнее пальто? Когда вы купили/покупали свою мебель?" (15/40).

Аналогичная нейтрализация видовых форм наблюдается и при употреблении повелительного наклонения. О.П. Рассудова иллюстрирует ее следующими ситуациями, в которых естественно предполагается действие совершенного вида, но используется несовершенный вид с функцией "нейтрального побуждения": "Студент входит в аудиторию, где идет экзамен. Он подходит к столу, на котором лежат билеты. Естественно, что он должен взять билет, и преподаватель может сказать в этом случае: Берите билет. В подобной ситуации императив не информирует второго участника, какое действие он должен совершить. Это ему известно, поскольку действие обусловлено ситуацией. Императив несовершенного вида дает как бы сигнал к наступлению этого действия (15/106): "Войдя в комнату с новым лицом, незнакомым присутствующим, и подведя его к одному из окружающих, можно сказать: Знакомьтесь! и Познакомьтесь!" (там же /109); "Вот чек, - говорит продавец. - Платите! (Глагол не-

совершенного вида побуждает перейти к действию, естественно обусловленному ситуацией)" (там же/107). По сути дела, здесь речь идет об ожидаемых в данных ситуациях действиях, объективно мотивированных и типичных для исполнителя и побуждающего лица. Ср. еще: "Телефонистка соединила меня с другим городом и сказала: "Говорите!", "Говорите, товарищ, это военсовет фронта" (А.Толстой); подвигая стул, обычно говорят "Садитесь", к гостям обращаются "Проходите, раздевайтесь, садитесь", "Берите печенье, наливайте сами чай" и т.д.

3. Ситуация при вербально уже обозначенном в речи действии совершенного вида: Ср. примеры О.П.Рассудовой: "Я узнал, что путевки в санаторий будут продаваться в конце месяца. - А где вы узнавали?"; "Я показал Ивану Петровичу свою модель. - Когда ты показывал?"; "Мне объяснили, как к вам проехать, и я ехал сначала на метро, а потом на трамвае. - Кто же вам объяснял? Это совсем неудачный путь" (15/41); "Объясни ему, пожалуйста, он что-то не понимает в упражнении. - Ну, что объяснять?"; "Тебе надо узнать, когда кончается срок твоего пребывания в гостинице. - А где узнавать?" (15/60). К данному типу относится употребление несовершенного вида императива для выражения безучастного согласия говорящего в ответ на просьбу или намерение собеседника осуществить целостное действие: "Можно войти? - Входите"; "Нет, уж я теперь каждый кустик огляжу, - Оглядывайте" (А.Островский); "Можно мне оставить у вас книги? - Оставьте"; "Можно у вас взять карандаш? - Берите".

Действие совершенного вида может быть и не названо формой вида, но его осуществление происходит во времени и пространстве речевой коммуникации - оно автосемиотично: "Сергей, строго сдвинув брови, вслух сказал: Ну что ж, позволю! - Чего ты? - спросил товарищ, подсаживаясь рядом. - Повеюм, говорю" (М.Прилежаева. Юность Маши Строговой); "Отчего вино не нагрето? - спросил он довольно резким голосом одного из камердинеров. Камердинер смешался, остановился как вкопанный и поблбднел. - Ведь я тебя спрашиваю, любезный мой? - продолжал спокойно Аркадий Павлович, не спуская с него глаз" (И.С.Тургенев. Бурмистр); "Полно, полно, ты мне сейчас другое говорил, и кольцо от меня принял..." (Тургенев. Уездный лекарь) "- Скажите все это его жене. Вот так, как вы говорили мне... Слово в слово!" (А.Алексин. Как ваше здоровье); "- Что ты

говорил только что про мою маму, про свою сестру?" (Чехов. Вишневый сад): " - А какие ты нам, Илюшка, страхи рассказывал, - заговорил Федя..." (Тургенев. Бежин луг) (подробнее об этой ситуации употребления видовых форм см. в работе 20/60-63).

4. Ситуация коинциденции, когда акт обозначения речевого действия является одновременно самим его выполнением. Ср. Прошу/попрошу билеты для контроля/ в трамвае; Ты правильно поступил, - вот что я тебе говорю/скажу. Впервые этот тип употребления видов был отмечен Э.Коммидером, который подчеркнул, что здесь не совершенный вид вторгся в область несовершенного, а как раз наоборот. Действительно, коинцидентная ситуация предполагает использование совершенного вида, так как начальный и конечный моменты произнесения глагола сообщения совпадают с начальным и конечным моментами обозначаемого им речевого действия. Следовательно, при коинциденции мы имеем дело с ситуативной целостностью речевого действия, и употребление несовершенного вида в высказываниях такого типа служит не для выражения "совершенности" действия, а самого действия как такового (о модальных различиях видовых форм при коинциденции см. в работе 20).

5. Предварительная осведомленность говорящих о предситуативных действиях совершенного вида, о которых идет речь (предситуативно обусловленная пресуппозиция). К этому типу ситуативности относится обычное употребление в устной речи форм несовершенного вида вместо форм совершенного вида для передачи факта единичного действия, имевшего место в прошлом или предполагаемого как имевшее место в прошлом, т.е. действия, служащего исходным предметом коммуникации так или иначе уже известном для говорящих. В аспектологической литературе эту функцию несовершенного вида характеризуют как общефактическую, указывающую на "было данное действие или не было" (I5/I7). Однако остается неясным, какое в аспектуальном отношении действие имеется в виду, когда выступает общефактическая функция несовершенного вида, - целостное или нецелостное. Считать его ни тем, ни другим, просто действием без аспектуального проявления, которое констатируется несовершенным видом, делает необъяснимой возможность употребления в таких случаях семантически всегда сложной, "маркированной" формы совершенного вида. Ср. " - Собирались/собрались

представители общественности в этот день? — Да, собирались/собрались" (там же); "Но ведь ты с самого утра работаешь без отдыха, как будто тебя кто подгоняет. Ты обедад?" (Н. Островский, можно употребить "пообедад?"); Когда вы уходили из университета, там еще оставался/остался кто-нибудь? Попытка О.П. Рассудовой провести границу между констатирующим значением несовершенного вида и сообщающей функцией совершенного вида касается повествовательных предложений, но в вопросительных предложениях эта разница не проявляется. Ср. " — Скажите, вам не встречалась/не встретилась девочка с ведром?" Глагол в совершенном виде тоже оформляет вопрос "было данное действие или не было". В вопросительных предложениях вид не различает высказывания и по признаку "предполагалось ли данное действие или нет", ибо, как установлено в логике, любой вопрос предполагает некоторую ситуацию, относительно которой устанавливается информация. "... Вопрос есть такая форма мысли, в которой требуется определить истинность некоторых допущенных в ней суждений или превратить некоторую функцию высказывания в истинное высказывание" (5/110).

Предварительная осведомленность говорящих о предситуативных действиях совершенного вида может проявляться и в вопросительных, и в повествовательных ("сообщающих") высказываниях. Конечно, это не означает, что в вопросительных высказываниях всегда и только предполагается ситуация целостного действия (ср. " — Ты вчера сдавал экзамен? — Сдавал, но не сдал"), но когда речь идет именно о ней, то происходит нейтрализация видов и несовершенный вид выступает лишь в номинативной функции. Если говорить о разнице синонимичных высказываний, связанной с двумя видовыми формами, то она скорее всего проходит по линии подчеркнутой/не подчеркнутой осуществленности предполагаемого действия, что и естественно, так как избыточная в таких случаях форма совершенного вида обращает внимание на вероятность действия, являясь более информативной по причине сложности своего семантического содержания. Наше истолкование функции совершенного вида в вопросительных предложениях, основанных на допущении, осведомленности говорящих о предситуативном целостном действии вполне согласуется с наблюдениями О.П. Рассудовой над тем, что в вопросительных высказываниях совершенный вид сопровождается дополнительным смысловым оттенком — "говорящий предполагает,

что действие должно **было** совершиться. Например, мы можем сказать: - Ну как, вы посмотрели фильм "Девять дней одного года?" В таком вопросе подразумевается, что собеседник хотел, предполагал посмотреть фильм, и нас интересует, осуществил ли он свое намерение... Зная, например, что больной должен был в отсутствии говорящего принять лекарство, говорящий спросит, не забыл ли тот сделать это, употребляя глагол совершенного вида: - Ты принял лекарство? (15/20). Ср. также и другие примеры: Почему же ты никого не предупредил о своем отъезде? Вы не взяли журнал, который для вас оставили? Вы позвонили своему научному руководителю? Вы поговорили с ним? Вы передали ему, что он должен быть на совещании? и т.д. Замена совершенного вида несовершенным в приведенных предложениях приведет к выражению меньшей вероятности совершения действия, меньшей уверенности в его наличии, к постановке вопроса в более неопределенной форме. Вот почему при ситуации малознакомого собеседника (и вообще незнакомого) обычно в альтернативных вопросах употребляется несовершенный вид: Скажите, пожалуйста, вы не брали,..., не встречали, не видели...? не находили...? Другими словами говоря, чем меньше при вопросе включается в предположение о действии осведомленность собеседника, тем чаще используется форма несовершенного вида. Ср. "А сегодня он пришел ко мне и говорит: "Ты звала?" А я его не звала, это он нарочно придумал" (В. Розов); "Во всем остальном, по-моему, мы все относимся к Леночке вполне прилично. Разве она жадовалась на нас?" (В.Розов). Интересный в этом отношении диалог приводит из повести В. Тендрякова "Суд" О.П.Рассудова (15/23): во время следствия следователь задает вопросы подозреваемому о единичных и целостных действиях в несовершенном виде: " - Нет пули, - ответил он глухо. - Как так нет? Вы ее доставали или не доставали? - Считаю, что не доставал. Нету - и все... - Что означает ваше "нет"? Приносили пулю или не приносили? - Приносил. - Вы, как сообщил следствию Дудырев, и ему показывали эту пулю? - Показывал и ему". Но вот другое "следствие", категоричность вопросов которого представлена совершенным видом: "Учитель достал список. - Барсукова, встать! Ты взяла нож? - Я не брала. - Садись. Воронин, встать! - Ты взял нож? - Я не брал. - Садись" (В.Солоухин).

От вопроса о действии совершенного вида (было ли оно как

конкретный, актуальный факт) следует отличать вопрос о действии в обобщенном плане, когда говорящего интересует проявление действия в принципиальном отношении, без актуализирующей аспектуальной характеристики. Ср. "Ты читал/вообще/эту книгу? — Да, читал"; "Скажи, я когда-нибудь ошибался?"; "Ты встречался с ним?" Форма несовершенного вида здесь тоже не несет определенной информации о видовом осуществлении действия, имея чисто номинативную функцию, но и не допускает синонимичного употребления совершенного вида.

Рассмотренное употребление видов при предситуативно обусловленной пресуппозиции распространяется и на формы будущего времени, когда можно говорить о постситуативной пресуппозиции. О.П.Рассудова отмечает, что в разговорной речи характерно оформление вопроса о единичном действии будущего в несовершенном виде (15/88): Вы будете звонить/позвоните ему? Вы будете заходить/зайдете сегодня к Ивану Николаевичу? Вы будете продолжать/продолжите разработку этой темы? Будешь нести/понесешь приемник? Вы будете устраивать/устроите в этом месяце вечер встречи с поэтами? и под. При этом, как и в прошедшем времени, видовые формы подчеркивают степень вероятности осуществления действия в будущем: несовершенный вид сопровождается признаком намеренности, совершенный — признаком неременности, обязательности. Ср. в автобусе: Вы будете выходить/выйдете на следующей остановке? Вы будете садиться/сядете? или: Ты будешь сегодня оставаться/останешься после работы?

Вне вопросительных предложений и ответных на них реплик нейтрализация видов в устной речи, связанная с ситуативно-стью, встречается редко. Она наблюдается в двух случаях: при напоминании собеседнику о действии, об осуществлении которого он должен знать, или при сообщении о действии, которое было осуществлено говорящим в прошлом и наличие которого подтверждается им. Ср. высказывания первого условия: "Профессор подходит к Гончарову. Ординатор: Большой Гончаров. Мы вам докладывали". (Алешин. Палата); "Знакомься, это начальство мое ... Сергей. Я тебе про него рассказывал" (Арбузов. Иркутская история); "Опять ты рылся в моих книгах! Я же просил тебя не трогать!"; "Мы знакомы... Лет десять назад я выпускал вашу книгу. Кажется, последнюю, да?" (Симонов. Русский вопрос); "... Мы, кажется, встречались" (Каверин. Два капитана). Ср.

также в повелительном наклонении: — Ну, что же ты, забыл?
Эвони. Высказывания второго условия: — Я уже заподнял анкету. Зачем же еще раз?; Мне нужно купить подарок жене. Но что? Сумку я ей подарил. Шарф я ей уже тоже дарид, хочется купить что-нибудь оригинальное; "На капитанском мостике Каев, задыхаясь, подбежал к Алексею Алексеевичу. — Я говорид, нельзя! Учтите, я предупреждал! — Руки у него прыгали, как чужие, в голове вертелось: "Хорошо, что я ночью предупредил Ивана Захаровича. Я отказывался при свидетелях" (Е. Шатко. Эвони). Как видно из примеров, подтверждение об осуществлении целостного действия реализуется в контексте с наречием "уже" в значении предшествующего выполнения действия или частицей "же" в усилительной функции. Ср. — Советую вам попросить его остаться. — Да, я уже просил; — Вы не боитесь лететь самолетом? — Нет, я уже однажды летал.

Во всех данных примерах возможно употребление и совершенного вида (может быть, с некоторым изменением высказываний), но он лишил бы их эмфатической глагольности, свойственной номинативной функции несовершенного вида. Кроме того, несовершенный вид в нейтрализованном значении придает контекстам оттенок неопределенности, и если в них нет тех или иных указаний на разовый характер действия, то выделительная функция формы несовершенного вида приобретает обобщенно-фактический характер, не допускающий синонимичного употребления совершенного вида. Поэтому интерпретация приведенных высказываний в плане единичных или обобщенных действий во многом зависит от самих говорящих, их собственной осведомленности о количестве осуществления действия в прошлом. Ср. "— Он сам предупреждал, что все это шутка, и я относилась к его пьесе, как к шутке" (Чехов. Чайка); "— Какой вы чудак! — Знаю... Вы говорили мне это" (Горький. Мещане);

Нейтрализация категории вида, как и категории числа, в условиях денотативной области, соответствующей их актуализирующим функциям, показывает, что в ее позиции выступают две грамматические формы двучленных категорий: одна — избыточная, но стилистически отмеченная, другая — освобожденная от собственного системного значения и также стилистически отмеченная. В этом заключается природа их синонимичного употребления и коннотативной разницы. Но нельзя представлять дело таким образом, как будто сама ситуация или контекст в букваль-

ном смысле снимает у семантически простой формы ее инвариантное содержание. Если моделировать систему грамматических форм и их значений с учетом функционального употребления, выводя системно-структурные отношения грамматических форм из их функционирования в речи, что оправдано гносеологической первичностью "поведения" по отношению к "субстрату", то, видимо, следует постулировать уже в системе языка форму с нейтральзованным значением, т.е. двучленные грамматические категории функционально рассматривать как трехчленные, содержащие форму без актуализирующих грамматических значений. Язык экономно относится ко своим ресурсам отдельных единиц и не всегда создает специальный маркер для такой формы, используя в этих целях уже имеющиеся (подробное обоснование данной точки зрения на систему грамматических форм см. в работах автора 21, 22). В сказанном нас убеждают и наблюдения над употреблением категорий лица в устной речи, чему посвящен следующий раздел настоящей статьи.

III

Для устной речи характерны следующие типы употребления личных форм глагола (используются работы 4, 25):

1/ Формы 2-го лица по отношению к конкретно-разовому действию говорящего в ситуации диалога: " - Балаболка ты! - рассердился Ванька. - С тобой серьезно разговариваешь, а ты - как балаболка!" (Нилин. Жестокость). Глагол при этом представлен несовершенным видом.

2/ Такое же употребление формы 2-го лица при ответе на вопрос, заданный собеседником (цитация формы): - Что вы опаздываете? Как опаздываете! Да я вас целый час жду!"; " - Ну, а где ты столуешься? - Столуешься! - передернул плечами Ваня. - Я не нахлебник - столоваться" (К.Федин. Необыкновенное лето).

3/ Формы 3-его лица мн.числа по отношению к конкретно-разовому действию говорящего: - Тебе говорят, что нельзя, а ты все свое! Иди, куда тебя посылают! и под.

4/ Формы 3-его лица ед. числа по отношению к конкретно-разовому действию собеседника: " - Ну, хоть подними же, что уронил; а он еще стоит и любуется"(Гончаров. Обломов); "Сообщительность, посмотришь! - усмехнулся Чубиков. - Так и режет так и режет. И когда вы отучитесь лезть со своими рас -

суждениями" (Чехов. Шведская спичка).

5/ Формы I-го лица мн.числа по отношению к действию собеседника: " - Вижу, вижу; ну так как же мы теперь себя чувствуем, а?" - обратился Зосимов к Раскольникову" (Достоевский. Преступление и наказание); " - Видно, лишний наследничек нам не по нутру? - Как тебе не стыдно предполагать во мне такие мысли! - с жаром подхватил Аркадий" (Тургенев. Отцы и дети); " - Отстань! - проговорил вдруг Алеша... - Ого, вот мы как! Совсем как и прочие смертные стали покрикивать! Это из ангелов-то!" (Достоевский. Братья Карамазовы); "Официантка... подойдя к Андрею, спросила ласково, по-свойски: - Ну, что мы закажем?" (Авдеенко. Над Тиссой); "Длинноногий парикмахер в белом халате окинул его оценивающим взглядом и, чуть наклонившись, полудушевно спросил: - Будем бриться?... - Головку помоем? Головку будем сушить?" (М.Ланской, Б. Рест. Незримый фронт).

Как интерпретировать эти факты? Являются ли они, как обычно считают, переносным употреблением или часть из них - переносным, а часть - особым "приложением" нейтрализованных форм лица? Если под транспозицией грамматических форм понимать употребление инвариантного значения одного члена оппозиции в контексте (или ситуации) другого члена в целях придания высказыванию семантической двуплановости (см. 24), то вряд ли можно усмотреть ее во всех приведенных типах нарушения семантической валентности грамматических форм. В 3-ем и 4-ом типах формы 3-его лица представляют действия говорящего и собеседника как действия посторонних и неопределенных субъектов, на чем основан сам стилистический эффект резкости или пренебрежительности тона речи (25/47). Здесь несомненно мы имеем дело с переносным употреблением личной формы. Также транспонированной является форма I-го лица мн. числа в 5-ом типе употребления, характеризующая действие собеседника в плане объединения, соучастия с действием говорящего. Однако форма 2-го лица в I-ом и 2-ом типах не имеет инвариантного значения отнесенности действия к собеседнику, как и не выражает сама по себе и отнесенности действия к говорящему. Она, по справедливому замечанию Б.М.Гаспарова, в данных случаях неинформативна (3/206), иначе говоря - нейтрализованна, совмещая уже в системе языка нейтрализованное и определенно-личное значения. Обычное обобщенно-личное значе-

ние этой формы теряется в условиях приложения ее к конкретному действию ситуативного собеседника, и она приобретает общий характер неопределенной отнесенности действия к субъекту, сближаясь с функцией 3-го лица: ср. возможность замены "с тобой серьезно разговариваешь - с тобой серьезно разговаривают".

И переносное, и нейтрализованное употребление личных форм глагола всецело определяются предметной ситуативностью участников речевого акта, центром которого является сам говорящий. Однозначность ситуативной персональности в устной речи такова, что личные формы в актуализирующей функции становятся избыточными и говорящий использует их систему в често прагматических целях. "Разрушение" узусальных связей грамматических лиц доходит до того, что возникают своеобразные синтаксические идиомы, состоящие из контаминации разных форм лица с противоположной функциональной направленностью. Ср. " - Обдумать надо, - сказал Павлик, как купец, решивший поторговаться. Рагозин пригрозил в полухуточку: - Я тебе обдумай!" (Федин. Необыкновенное лето); " - Васыка! Засеку! Я тебе подслушай!" (Н.Островский. Рожденные бурей). Более того, ситуативная персональность способствует широкой замене в устной речи личных форм глагола синтаксическим лицом для экспрессивного использования транспозиции времен: - Как же! Пошла я за него замуж! /Ни за что не пойду за него замуж/! Так я и отдал тебе эти деньги - держи карман шире!, "Пошел все наверх" (Гончаров. Фрегат Паллада); Пошли! Начали! и под.

В одной из своих работ Э.Коммидер заметил, что при нейтрализации грамматическая категория как бы "работает на холостом ходу" (26/15, 199). В какой-то мере это суждение относится и к ситуативности устной речи, вызывающей нейтрализацию грамматических значений в их актуализирующих функциях. Однако, как показывают рассмотренные факты употребления грамматических категорий в устной речи, следует говорить не о "холостом ходе" системных значений грамматики в условиях ее ситуативности, а о широком использовании в устной речи заданных во внутрисистемных отношениях экспрессивно-эмоциональных возможностей грамматических форм, их "остаточных" признаков в целях умножения средств передачи всего многообразия и богатства выражаемой информации. Грамматика устной речи - это прежде всего функционально-ситуативная граммати-

ка, в этом ее сложность, полифункциональность и своеобразие.

Л и т е р а т у р а

1. Апресян И.Д. Лексическая семантика. М., 1974.
2. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1969.
3. Гаспаров Б.М. Из курса лекций по синтаксису современного русского языка. Тарту, 1971.
4. Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского языка. М., 1952.
5. Зуев Ю.И. К логической интерпретации вопроса. "Логико - грамматические очерки". М., 1961.
6. Кацнельсон С.Д. О грамматической семантике. Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языковедения. Тезисы докладов и сообщений пленарных заседаний. М., 1974.
7. Копечный Ф. Из книги "Основы чешского синтаксиса" - В сб. "Вопросы глагольного вида". М., 1962.
8. Кошмидер Э. Очерк науки о видах польского глагола. - В сб. "Вопросы глагольного вида". М., 1962.
9. Кошмидер Э. Турецкий глагол и славянский глагольный вид. - В сб. "Вопросы глагольного вида". М., 1962.
10. Лаптева О.А. Русский разговорный синтаксис. М., 1976.
11. Ленин В.И. Философские тетради. М., 1965.
12. Мазон А. Употребление видов русского глагола. - В сб. "Вопросы глагольного вида". М., 1962.
13. Маркс К. Введение (из экономических рукописей 1875-1858 годов). - К.Маркс и Ф.Энгельс. Сочинения, т.12.
14. Пропп В.Я. Проблема артикля в современном немецком языке, "Памяти академика Л.В.Щербы". М., 1951.
15. Рассудова О.П. Употребление видов глагола в русском языке. МГУ, 1968.
16. Ревзин И.И. Так называемое "немаркированное множественное число" в современном русском языке. ВЯ, 1969, № 3.
17. Русская разговорная речь. М., 1973.
18. Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис современного русского литературного языка. М., 1968. (соответствующие разделы написаны Е.Н.Прокопович).
19. Соренсен Х.К. Вид и время в славянских языках. - В сб. "Вопросы глагольного вида". М., 1962.
20. Шелякин М.А. Аспектуальное употребление глаголов сообщения в русском языке. ФН, 1976, № 3.
21. Шелякин М.А. К вопросу о методологических основах системно-структурного описания грамматических категорий. Статья первая. Труды по русской и славянской филологии, XXIX, серия лингвистическая. Проблемы языковой системы и ее функционирования. Тарту, 1977.

22. Шелякин М.А. К вопросу о методологических основах системно-структурного описания грамматических категорий. Статья вторая (в печати).
23. Шелякин М.А. О семантике и употреблении неопределенных местоимений в русском языке. "Семантика номинации и семиотика устной речи". Тарту, 1978.
24. Шендельс Е.И. Грамматическая метафора. ФН, 1972, № 3.
25. Шмелев Д.Н. Стилистическое употребление форм лица. "Вопросы культуры речи", 3. М., 1961.
26. Koschmieder E. Beiträge zur allgemeinen Syntax. Heidelberg, 1965.

О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ МЕЛОДИКИ РУССКОЙ РЕЧИ

Б.М. Гаспаров

I. В звуковом строе языка можно выделить три основных структурных слоя, степень изученности которых существенно различается в настоящее время. Первый слой – это так называемая сегментная фонетика и фонология: состав фонем и дифференциальных признаков, характер фонемных корреляций и позиционного варьирования. Данные явления хорошо изучены как в описательном, так и в историческом плане. В частности, проблема, рассматриваемая в рамках настоящей статьи, т.е. исследование живых процессов, происходящих в современном русском литературном языке, до сих пор активно разрабатывалась именно на материале сегментной фонетики (I5; I6; I8).

Второй слой – это интонационные структуры, при помощи которых в языке оформляются различные типы высказываний. Описание интонационных структур связано с гораздо большими трудностями, чем описание сегментных единиц, в связи с неустойчивостью и вариабильностью этих структур. Тем не менее и для данного слоя имеется ряд исследований, в которых дается систематическое описание интонационных структур современного русского языка (I; 2; I7), а также их типологическое сопоставление со структурами других языков (I2; I3). Однако развитие интонационных структур, изменения, происходящие в этом слое в современном языке, остаются пока совершенно не изученными.

Наконец, третий слой составляет мелодика речи – различные параметры высоты тона, тембра, темпа, динамики, составляющие общую характеристику речи (или определенного стиля речи) на данном языке.^I При всех индивидуальных различиях высоты и тембра голоса, темпа речи и т.п. у отдельных индивидуумов, данные параметры несомненно имеют общеязыковую систему ценностей. Об этом свидетельствует тот общеизвестный факт, что слушатель извлекает различную информацию о стиле речи и различных эмоциональных оттенках высказывания, отвле-

^I См. более подробное перечисление параметров, образующих мелодику, в нашей предыдущей работе (4). См. также (II; I4).

каясь при этом от индивидуальных физических особенностей голоса говорящего и апеллируя только к общеязыковым, социально санкционированным параметрам, характеризующим звуковысотный диапазон, темп и тембр речи (ср. 8, стр.40;6).

Мелодика речи является почти не изученной стороной звукового строя языка. Между тем мелодика, в описанном выше смысле, образует наиболее общие параметры, характеризующие звучание речи в целом, независимо от звукового наполнения отдельных слов и интонационной характеристики конкретных синтаксических единиц. Принятые в данном языке характеристики мелодики речи образуют тот общий режим звукоизвлечения, в котором происходит развертывание интонационных структур и сегментных звуковых единиц данного языка. Поэтому типологическое описание мелодики речи в различных языках и исследование изменений, происходящих в данном структурном слое в ходе развития языка, может объяснить наиболее общие тенденции, свойственные звуковому строю языка в целом. В конечном счете эти общие тенденции обуславливают и те более конкретные процессы, которые наблюдаются для сегментных единиц и интонационных структур. В настоящей работе делается попытка систематизировать ряд наблюдений над мелодикой современного русского литературного языка и ее развитием в современном употреблении.²

2. Наблюдая речь различных поколений носителей русского литературного языка, можно заметить наличие в настоящее время двух типов мелодики, каждый из которых отличается существенными специфическими свойствами. На территории СССР принадлежность к каждому из этих типов почти исключительно связана с возрастом говорящего. Мелодика первого типа представлена у говорящих самого старшего поколения – старше 65 – 70 лет. Второй тип объединяет речь всех остальных возрастных групп, т.е. в настоящее время характерен для абсолютного большинства говорящих на литературном языке.

Различие между двумя указанными типами мелодики касается звуковысотной и тембровой характеристики речи. Для того,

² Автор приносит глубокую благодарность заведующему сектором вычислительной лингвистики Института языка и литературы АН ЭССР Марту Реммелю, оказавшему неоценимую помощь при машинной обработке материалов, связанных с настоящим исследованием.

чтобы дать наглядное представление о специфике мелодики первого типа по сравнению с современным звучанием речи у огромного большинства говорящих, можно указать на широко известные образцы публичной речи поэтов и артистов старшего поколения. Типичными образцами такой речи является чтение стихов и речь Б.Л. Пастернака, К.И. Чуковского, А.А. Ахматовой, в настоящее время еще памятные многим и сохранившиеся в записях³. Ср. также произношение таких актеров, как В.И. Качалов, О.Л. Книппер-Чехова, А.А. Яблочкина, Е.Н. Гоголева, М.И. Царев и др. Однако следует подчеркнуть, что данная мелодика отнюдь не составляет специфику только публичной или сценической речи. Аналогичное качество, при всех индивидуальных особенностях произношения, можно наблюдать и в повседневной речи у абсолютного большинства говорящих старшего поколения. В то же время у лиц, имеющих мелодiku второго типа, характерные черты этой мелодики имеют тенденцию усиливаться и выступать наиболее выпукло именно в ситуациях публичной речи; хорошо слышен также контраст между произношением на сцене или на экране актеров старшего и более молодых поколений.

Разумеется, указанные выше возрастные границы между группами приблизительны и не исключают возможности индивидуальных отклонений. Чаще такие отклонения наблюдаются в речи первой группы, у отдельных представителей которой можно обнаружить частичное, большее или меньшее, влияние второго, доминирующего типа. Отклонения в противоположную сторону у людей моложе 50 лет наблюдается крайне редко, хотя все же в единичных случаях имеют место — в бытовом общении чаще, чем в

³ В.И. Мерлин в своем докладе "Произношение стиха у А.А. Ахматовой" ("Ревзинские чтения", Москва, 1978 г.) привел интересные данные об особенностях произношения А.А. Ахматовой в сопоставлении с речью поэтессы младшего поколения — Б. Ахмадулиной. Констатируется понижение основного тона, наличие глухого тембра, более глубокое произношение передних гласных (увеличение у-участка у о и о-участка у а/ по сравнению с современным стандартом произношения. Возможно, что при чтении стихов контраст между двумя типами мелодики усиливается, однако в принципе описанное различие характерно и для повседневной речи различных поколений говорящих на русском языке.

публичной речи. Наконец, в речи людей 60–70–летнего возраста часто наблюдается сочетание обоих типов в различных соотношениях, хотя среди представителей этой возрастной группы встречаются и чистые носители мелодики как первого, так и второго типа.

Было бы ошибочным полагать, что различие между двумя типами мелодики связано с возрастными особенностями речи. Во-первых, существующее возрастное соотношение сложилось лишь в настоящее время; речь представителей современного старшего поколения, насколько можно судить по сохранившимся записям, всегда характеризовалась первым типом мелодики, независимо от того, каков был возраст говорящих в момент записи. Кроме того, если на территории СССР каждый тип мелодики имеет к настоящему времени довольно четкие возрастные границы, то за пределами СССР в речи людей, для которых русский язык является родным, наблюдается резкое преобладание первого типа мелодики, независимо от возраста говорящего. Это можно объяснить двумя причинами. Во-первых, консервация более старого типа является естественной в условиях языковой изоляции. Во-вторых, первый тип мелодики ближе к тому, что можно назвать европейским фонетическим стандартом, т.е. к основному типу мелодики, свойственному абсолютному большинству европейских языков, при всех различиях в звуковом строе этих языков⁴. В то же время второй тип мелодики довольно существенно отклоняется от основных параметров, характеризующих мелодику в языках Западной и Центральной Европы. Воздействием последней также объясняется консервация первого типа в русской речи в условиях иноязычного окружения. С этим связан также тот факт, что русская речь иностранцев, хорошо владеющих русским языком, всегда характеризуется первым типом мелодики. Аналогичные явления можно так-

⁴ Следует попутно отметить, что и в отношении сегментной фонетики языки Западной и Центральной Европы имеют ряд общих черт, позволяющих говорить об общем для данного ареала фонетическом типе. Такими чертами, в частности, являются резкое преобладание переднеязычных согласных и слабое развитие велярного и гуттурального ряда; слабое развитие палатализации; богатый консонантизм начала слова; слабое развитие аккомодаций, относительная автономность каждого звука и в связи с этим — отсутствие жестких ограничений на структуру слога. Важно заметить, что в отношении целого ряда этих признаков русский язык весьма существенно отличается от европейского фонетического стандарта.

же наблюдать в русской речи эстонцев, поскольку эстонский язык в отношении мелодики принадлежит к европейскому фонетическому стандарту.

Из приведенных наблюдений следует, что первый тип мелодики характеризует более старое состояние русской речи, а второй является инновацией для литературного произношения (хотя не исключено наличие этого типа в более ранний период за пределами литературного языка). Поскольку речь людей от 65-70 лет и старше в основном устойчиво сохраняет первый тип мелодики, можно предположить, что данная инновация началась не раньше, чем люди этой возрастной группы твердо усвоили старую произносительную норму. Как показывают наблюдения, в русском языке переход от "детской речи" к полностью адекватному взрослому типу произношения заканчивается довольно поздно, примерно к 8-10 годам. Следовательно, второй тип мелодики отражает изменения в языке, совершившиеся, предположительно, в течение последних 50-60 лет.

3. Различие между двумя типами мелодики отчетливо проявляется при восприятии речи на слух. Это различие состоит как в звуковысотной, так и в тембровой характеристике речи.

а) Речь второго типа в целом воспринимается как более высокая по сравнению с первым типом. Это общее повышение речи происходит для всех типов голосов, от самых низких до самых высоких, и ощущается вне зависимости от индивидуальных особенностей говорящих. По-видимому, ощущение эффекта повышения имеет место благодаря относительной интенсификации верхних регистров речи у каждого говорящего: относительно более частому использованию этих регистров в речи (по сравнению с первым типом мелодики и с европейским фонетическим стандартом) и более резким повышением голоса. Именно этим можно объяснить, почему даже речь людей, обладающих низким голосом, при мелодике второго типа воспринимается как "высокая".

б) Речь первого типа воспринимается как более "густая", насыщенная, имеющая "грудной тембр"; соответственно, для речи второго типа характерно не только более высокое, но и более светлое, "пустое" звучание. Тембровая характеристика речи второго типа напоминает эффект, возникающий при дискантном пении или при извлечении флаколетных звуков у смычковых инструментов. Важно отметить, что в обоих последних случаях

используется сходная техника извлечения звука, состоящая в том, что свободное колебание тела, служащего источником звука, частично ограничивается. При дискантном пении мускульным усилием стягиваются голосовые связки, и этим частично ограничивается свобода их колебания; при извлечении флажолетного звука легкий нажим пальца частично перекрывает колебание струны. В результате возникает звук более высокий (например, мужчина способен взять дискантом верхние ноты, которые при обычном пении доступны только женскому голосу) и пустой, лишенный нижних обертонов, которые обычно придают звуку тембровую насыщенность и полноту. Это тембровое сходство речи второго типа с дискантом/флажолетом особенно наглядно проявляется у людей с низким голосом. Таким образом, звуковысотная и тембровая характеристика взаимно дополняют друг друга.

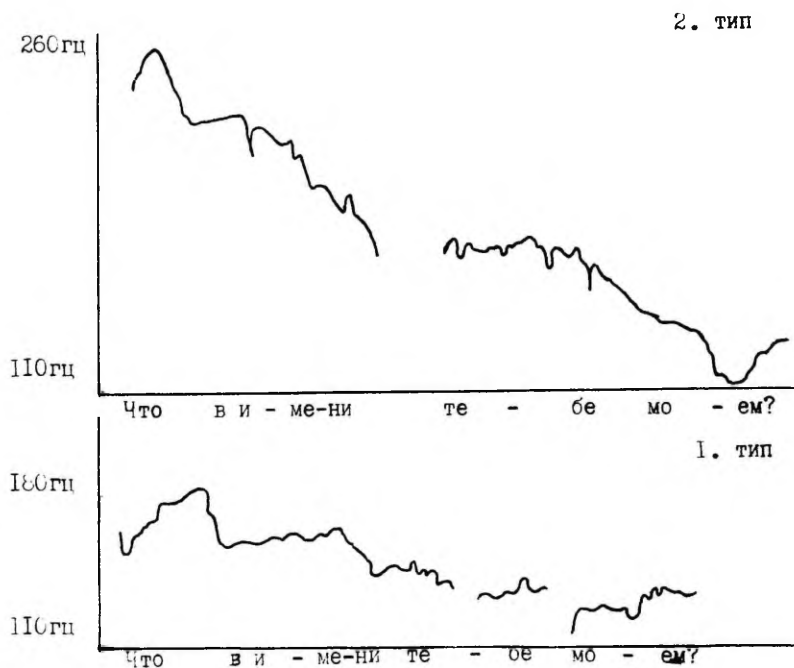
4. Непосредственное слуховое впечатление контраста между двумя типами мелодики подтверждается при анализе с помощью фонетических приборов. В частности, различие в высоте тона зафиксировано при анализе образцов обоих типов речи на интонографе, который фиксирует высоту основного тона. Результаты анализа позволяют более подробно описать некоторые различия в акустической характеристике, которые лежат в основе контраста между данными типами речи.

Речь первого типа отличается большей интонационной плавностью. Кривая основного тона дает лишь постепенные, плавные повышения и понижения, причем общий диапазон звуковысотных изменений относительно невелик. Поэтому каждый гласный в отдельности характеризуется устойчивой высотой основного тона. Относительно слабым является также контраст по высоте между различными гласными. Различие по высоте основного тона между самыми высокими и самыми низкими точками речи у говорящего первого типа редко превышает 90 герц (в спокойной речи).

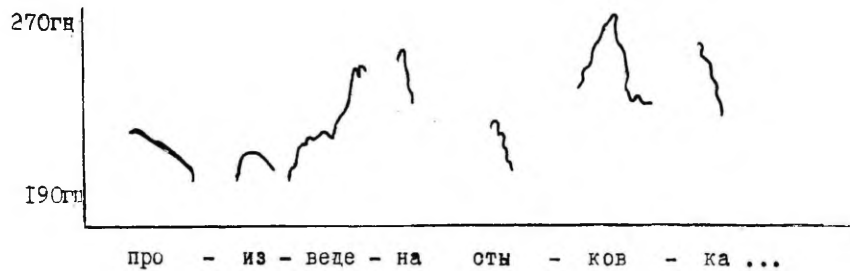
Второй тип мелодики отличается большой неустойчивостью основного тона. Кривая основного тона имеет ломаный характер, с крутыми подъемами и спусками. Каждый гласный в отдельности отличается неустойчивостью по высоте, так что очень часто в пределах произнесения одного гласного наблюдается скольжение основного тона на значительном диапазоне. Соответственно, интонация фразы также дает резкие скачки вниз и вверх, причем общий диапазон речи заметно расширяется по сравнению с первым типом (приблизительно до 120-140 герц), главным образом

за счет интенсификации верхнего регистра; этим и объясняется общее впечатление повышения тона, независимо от абсолютной высоты голоса.

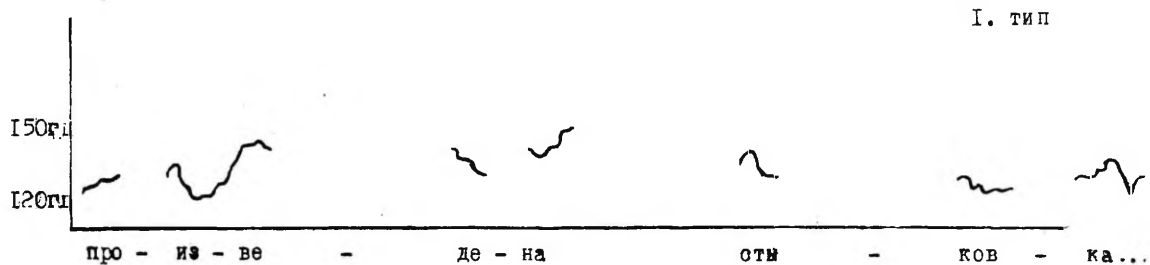
Ср. интонограмму чтения стихотворения (начало стих. Пушкина "Что в имени тебе моем") у носителей первого и второго типа произношения (возраст говорящих 79 и 38 лет соответственно):



Аналогичное соотношение обнаруживается и при чтении прозаического текста (отрывок из "Сообщения ТАСС" от 5.3.1978):



- 28 -

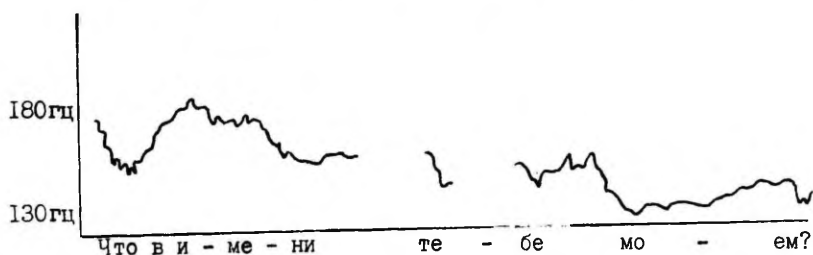
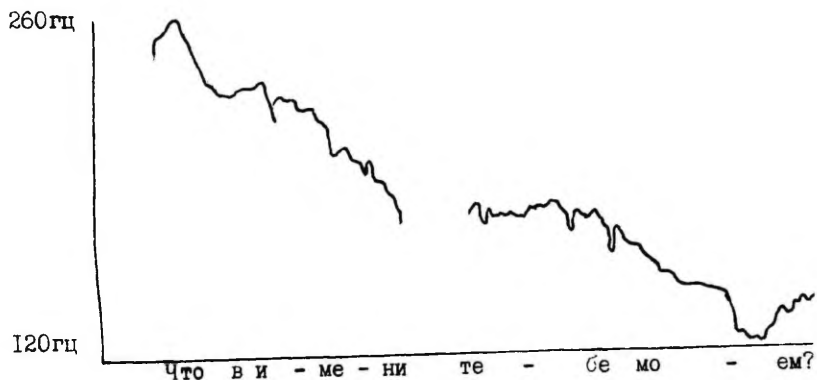


5. Если различие звуковысотного компонента мелодики первого и второго типа оказалось возможным наглядно представить с помощью интонографа, то анализ тембровых различий столкнулся с определенными трудностями. Несмотря на то что на слух различие двух типов речи по тембру воспринимается вполне отчетливо, проведенный спектральный анализ не позволил выявить значимых различий в формантной структуре между образцами первого и второго типа. Возможно, что причиной этого является недостаточная степень точности определения формант, и различия, обуславливающие специфику тембра, лежат за пределами того уровня точности измерений, который оказался доступен на данном этапе исследования. Однако более вероятно, что тембровый эффект вообще имеет более сложную и многомерную природу, т.е. достигается взаимодействием множества различных факторов, а поэтому и не поддается пока непосредственному измерению.

Таким образом, мы не располагаем пока экспериментальными данными, которые позволили бы точно определить артикуляционный механизм тембрового различия между мелодикой первого и второго типа. Поэтому в настоящее время можно опираться лишь на некоторые косвенные данные, позволяющие гипотетически реконструировать этот механизм. Такими данными являются, во-первых, отмеченные выше черты сходства между тембром речи второго типа и тембром дискантного пения или флажолетных звуков. Можно предположить, что и механизм порождения данного тембрового эффекта также является в принципе сходным во всех этих случаях. Иначе говоря, при произношении второго типа голосовые связки стягиваются постоянным мышечным усилием и поэтому находятся в частично отключенном состоянии, при котором возможность колебания сильно ограничивается. Артикуляционные ощущения перемещаются вперед, артикуляция становится менее глубокой, т.е. возникает дискантный эффект, описанный в § 3. Такой характер произношения объясняет не только общее повышение тона и особый тембр, но и неустойчивость каждого гласного, поскольку ограничение гармонических колебаний голосовых связок, напряженное произношение, по-видимому, способствует скольжению гласных, которое хорошо заметно на интонограмме речи второго типа. С другой стороны, первый тип произношения характеризуется большей свободой, и в то же время большей загруженностью, отсутствием отключения го-

лосовых связок; гармонические колебания голосовых связок являются основным компонентом произнесения гласного.

Описанная гипотеза подтверждается тем, что перенесение артикуляционных ощущений в глубину, интенсивное включение "голоса" приводит к появлению в речи признаков мелодики первого типа. Ср. интонограмму фразы, произнесенной автором настоящей работы при обычной для него артикуляционной постановке (по второму типу) и при имитации артикуляционных ощущений первого типа. Более глубокая постановка артикуляции дает результат, очень близкий к интонограммам носителей первого типа:



Еще одним фактором, косвенно подтверждающим высказанную здесь гипотезу, является изменение в манере пения на русском языке, которое можно наблюдать в последние десятилетия (см. об этом ниже, § 7).

Кроме общего перенесения артикуляционных ощущений впе-

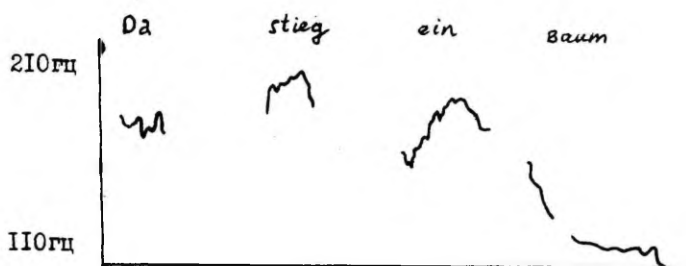
ред, в связи с частичным отключением голосовых связок, для речи второго типа характерно особенно сильное перемещение вперед непередних гласных неверхнего подъема (т.е. гласных, обладающих наибольшим объемом резонатора) — о и а. Произнесение этих гласных с более светлым тембром дает особенно сильный эффект при создании общей более светлой тембровой окраски речи.

6. Итак, в течение последних 50—60 лет в русском литературном произношении произошло значительное смещение артикулирования гласных, и в связи с этим изменилась общая характеристика мелодики речи. Этот процесс имеет важные последствия, как чисто языкового, так и более широкого общекультурного характера.

Прежде всего следует отметить, что русский язык в начале XX века по своей мелодической характеристике не имел существенных отличий от других европейских языков; можно сказать, что по крайней мере на этом уровне звуковой организации русский язык принадлежал к европейскому фонетическому стандарту. В связи с этим, при усвоении русского произношения иностранцами и иностранного произношения — говорящими по-русски задача сводилась к изучению сегментной фонетики и интонационных структур; переход от одного языка к другому происходил на основе общей (или, во всяком случае, сходной) мелодики, общей принципиальной постановки речи, и это обстоятельство в известной степени облегчало такой переход. В настоящее время задача усложнилась, так как даже при правильном исполнении отдельных звуков и фразовой интонации сохраняется неадекватность мелодики речи. Более того, поскольку именно мелодика определяет наиболее общий режим работы органов артикуляции, неадекватность мелодики в конечном счете не позволяет достигнуть полной адекватности и на сегментном и интонационном уровнях. В частности, особое произношение гласных, с резкими скольжениями высоты тона на одном звуке, характерное для современной русской речи, по-видимому, связано с дискантной постановкой мелодики. Можно также предположить, что некоторые особенности русской интонации связаны с резкими смещениями высоты тона при мелодике второго типа (см. об этом § 8).

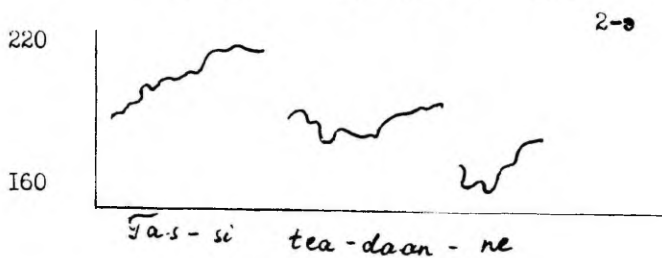
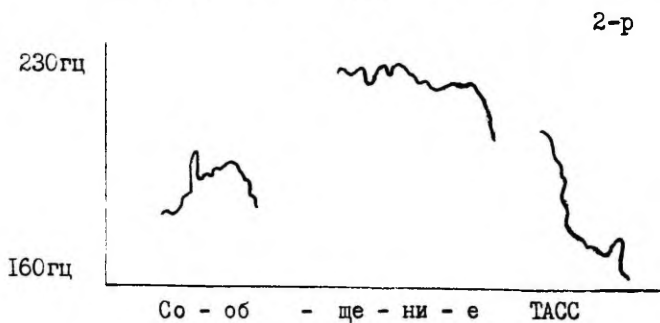
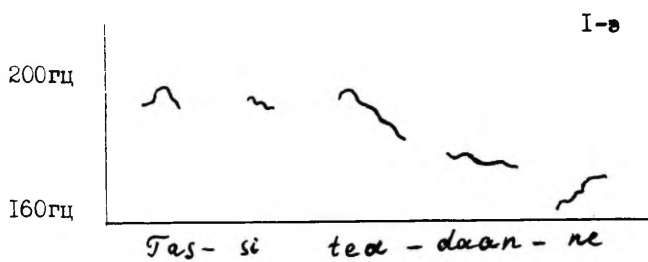
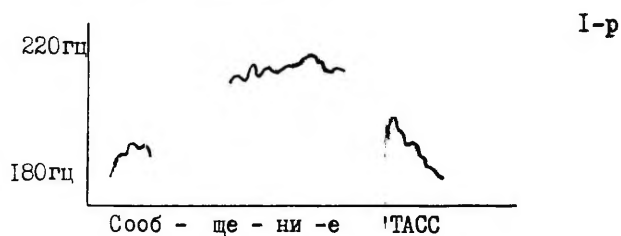
Наблюдения показывают, что переход на другой тип мелодики при изучении иностранного языка может быть достигнут лишь

с очень большим трудом. Поэтому в произношении иностранцев, даже очень хорошо владеющих русским языком, обычно отчетливо проявляется первый тип мелодики. С другой стороны, иностранная речь в устах носителей русского языка обычно характеризуется вторым типом мелодики. Это различие делает в настоящее время труднодостижимым полностью адекватное произношение при переходе от русского языка к какому-либо языку европейского фонетического стандарта и обратно. Ср. типичную интонограмму немецкой речи в устах носителя мелодики второго типа



В связи с описанной ситуацией, интересные явления наблюдаются в настоящее время в Эстонии в речи лиц, свободно говорящих как по-русски, так и по-эстонски. Как уже говорилось, эстонский язык имеет мелодику, характерную для европейского стандарта. Поэтому двуязычные говорящие не могут преодолеть некоторую неадекватность произношения на одном из языков, так как они владеют только одним типом мелодики, который применяют в своей речи на обоих языках. Эта неадекватность сохраняется даже при идеальном владении обоими языками на более высоких уровнях. Даже в том случае, когда сам говорящий затрудняется определить, какой из двух языков является для него основным, характер мелодики его речи может служить индикатором: для говорящих, у которых основным языком является эстонский, в речи на обоих языках характерна мелодика первого типа, в то время как для говорящих с основным русским языком характерна мелодика второго типа. Ср. интонограммы русского и эстонского текста "Сообщения ТАСС", произнесенного двуязычными говорящими, у которых основным языком является эстонский (случаи I-р и I-э) и русский (случаи 2-р и 2-э). Обе интонограммы первого говорящего-

го обнаруживают звуковысотную характеристику первого типа; у второго говорящего на обеих интонограммах видна звуковысотная структура, характерная для второго типа.



Как видим, у обоих говорящих русский вариант характеризуется более разкими изменениями высоты основного тона, более высокими пиками и за счет этого - более широким общим диапазоном речи, по сравнению с эстонским вариантом произношения. Однако у первого говорящего все эти явления выражены слабее, чем у второго. В то же время плавность линий, узость звуковысотного диапазона в эстонском варианте отчетливее просматриваются у первого говорящего. Таким образом, как в русской, так и в эстонской речи первый из двуязычных говорящих ориентирован на мелодику первого типа, а второй - на мелодику второго типа.

Мелодика речи является одной из наименее осознаваемых и поддающихся самоконтролю со стороны говорящего составных частей языкового механизма. Она не связана (во всяком случае, на поверхности) со смыслом передаваемого сообщения; неадекватность мелодики не дает таких резких смысловых эффектов, какие могут возникнуть при наличии ошибок на лексическом или грамматическом уровне, либо при неправильной интонации. Неадекватность мелодики не дает также того очевидного впечатления "акцента", которое возникает при наличии погрешностей в произнесении отдельных звуков. Поэтому и сам говорящий, и его собеседники, как правило, не замечают неадекватностей мелодики речи непосредственно. Иногда они интуитивно чувствуют, что их речь чем-то отличается, но чем именно - не могут определить. Эта трудность осознания делает мелодику речи одной из наиболее сложных для усвоения частей языкового поведения и вместе с тем сложным и тонким инструментом анализа, применение которого может дать интересные результаты при исследовании проблем двуязычия, определении родного языка, определении незначительных неадекватностей языкового поведения и их социальных и культурных следствий и разработке на основе этого "языковой терапии" и т.д.

7. В результате происшедшего сдвига первый тип мелодики получил определенную социально-культурную коннотацию. А именно, поскольку речь первого типа характеризует только говорящих старшего поколения, она стала осознаваться современным языковым сознанием как "старая", "дореволюционная" речь. О том, что такое интуитивное осознание существует в настоящее время, свидетельствует ситуация исполнения современными актерами ролей в классических пьесах или экранизациях произве-

дений прошлого века. В этой ситуации зритель интуитивно ожидает услышать речь первого типа, поскольку она связана для него с соответствующими персонажами. Однако актеры среднего и младшего поколения не владеют этой речью; даже в том случае, когда на сегментном уровне они культивируют старую московскую норму произношения, мелодика их речи принадлежит ко второму типу. В результате может возникнуть интуитивное ощущение неадекватности актера создаваемому образу. При этом, как обычно происходит с мелодикой речи, сам феномен неадекватности мелодики не осознается непосредственно, и ощущение неадекватности может переноситься в другие сферы; например, у зрителя может возникнуть впечатление, что актеры "плохо играют", что им не хватает чувства стиля, чувства эпохи, у них недостаточно хорошие манеры и т.п.

Замечательное исключение из описанной ситуации представляет исполнение М.Ульяновым роли Дмитрия Карамазова в фильме "Братья Карамазовы". Интуиция актера оказалась настолько глубокой, что позволила ему перестроить свою речь в соответствии с образом: в данной роли речь Ульянова характеризуется мелодикой первого типа, в то время как в ролях современного репертуара этот актер реализует нормальный для его возрастной группы второй тип произношения. В то же время речь других актеров в том же фильме не отличается от их повседневного произношения и поэтому привносит коннотацию, не соответствующую создаваемым образам.

Изменение типа произношения отразилось также на манере пения у лиц, являющихся носителями второго типа. Специфической чертой такого пения является сильная вибрация голоса, которая затрудняет устойчивое извлечение тона и ведет к детонации. Сравнение современных певцов с записями певцов прошлых поколений, таких как Шаляпин, Собинов, Пирогов, Рейзен, Обухова, Максакова, Ханаев и др., показывает, что для последних было характерно отсутствие усиленной вибрации, более "легкое" и более четкое извлечение тона. В этом смысле манера пения Шаляпина и др. обнаруживает принципиальное сходство с пением современных западных певцов, таких как Д. Фишер-Дискау, Э.Шварцкопф, К.Флагстадт и др. Причина этого изменения, быть может, состоит в том, что в современной речи говорящих по-русски голосовые связки работают в "дискантном" режиме. Таким образом, режим работы связок в речи резко от -

личается от того, который требуется при пении, поскольку в последнем случае необходимо гармоническое колебание связок. В результате певцы не имеют речевых навыков правильного интонирования; их повседневная речевая практика не создает благоприятных предпосылок для правильной постановки голоса при пении, и это создает дополнительные трудности при усвоении вокальной техники.

Описанные особенности пения могут служить косвенным подтверждением гипотезы о дискантной природе произношения второго типа (ср. § 5). В этой связи обращает на себя внимание неустойчивость звуковысотной характеристики гласных при речевой постановке второго типа. Данное явление хорошо согласуется с детонацией при пении, наблюдаемой у людей, произношение которых строится по второму типу. Указанный параллелизм между вокальными и речевыми навыками может оказаться полезным при обучении пению в условиях неблагоприятной для этого речевой постановки голоса. В этом случае выработка режима работы органов речи, более благоприятного для пения, может оказаться существенным компонентом обучения вокалу.

8. Описанный процесс изменения мелодики русской речи имеет сложную лингво-социальную природу. Можно предположить только назвать целый ряд различных факторов - лингвистических, психологических, социальных, - которые послужили источником и причиной данного явления. По-видимому, ни один из этих факторов не является исключительной причиной, так что изменение мелодики можно представить себе как результат сложного взаимодействия принципиально разноплановых факторов.

Во-первых, для русского литературного языка XX века характерна активизация свободных синтаксических построений, связанных со специфическим синтаксисом устной речи (18, стр. 277 и сл.; 20). Конечно, активизация разговорного синтаксиса, т.е. более широкое употребление соответствующих конструкций в речи людей, владеющих литературным языком, а также проникновение их в некоторые жанры письменной речи, является в настоящее время всеобщим процессом, который можно наблюдать для самых различных языков (см., напр., 5; 25). Однако некоторые особенности структуры русского языка создают особенно благоприятные предпосылки для этого процесса. Русский язык и в своей стандартной форме обладает чрезвычайно большой свободой словорасположения, отсутствием жесткой связи между син-

таксической зависимостью слов и их положением относительно друг друга во фразе. Поэтому в устной речи с особенной легкостью происходит разрыв синтаксических конструкций, вынесение синтаксически связанных между собой слов в различные концы фразы (см. об этом [7, стр. 380 и сл.; 4, стр. 76]). При этом, если в стандартном русском языке изменение основного порядка слов всегда мотивировано и вносит в высказывание дополнительную смысловую или стилистическую информацию (ср. 7), то в разговорной речи изменения порядка слов могут не иметь такой определенной мотивировки и вызываться только стремлением говорящего создать общий колорит неформального общения "разговорности".

Широкое распространение данных процессов приводит к тому, что порядок, в котором говорящий развертывает элементы высказывания, оказывается непредсказуемым для слушателя. Естественно, что такое положение затрудняет декодирование смысла высказывания слушателем, т.е. создает несбалансированное преимущество для говорящего за счет адресата сообщения (ср. 19). Это несоответствие в структуре высказывания компенсируется интонацией. Интонация корректирует те отклонения от стандартной линейной организации фразы, которые возникают в устном высказывании. Каждый "шов", каждый разрыв структуры, идущий вразрез с структурными ожиданиями слушателя, сопровождается резким смещением (обычно повышением) высоты тона (ср. 9). Так, если фраза дробится на сегменты, синтаксическая связь между которыми оказывается нарушенной, то границы сегментов отмечаются повышением тона; ср., например, интонационное выделение "именительного темы" (см. 10): Нина, / я ее не видел. Улица Гоголя / как пройти? Аналогично, при вынесении составных частей конфигурации в разные части высказывания, разрыв конфигурации отмечается интонационно: Давно я его не видел очень.

В этих случаях изменение высоты тона является предупредительным сигналом для слушателя, который оповещает его о том, что в данной точке высказывания он не должен ожидать продолжения, вытекающего непосредственно из предыдущих структурных связей. Обилие в русской речи таких случаев, когда данная корректировка ожиданий слушателя оказывается необхо-

димой, делает интонацию чрезвычайно нестабильной. При этом наиболее частым случаем предупредительного интонационного сигнала является именно повышение интонации. Нарастание в современной речи случаев, в которых оказывается необходимой интонационная корректировка, создает предпосылки для развития общего мелодического стереотипа речи, характеризующегося нестабильностью высоты тона и тенденцией к повышению. Таким образом, можно констатировать, что некоторые особенности русского синтаксиса создаст лингвистическую основу для развития мелодики второго типа.

9. Наряду с чисто структурными предпосылками, существует ряд социолингвистических факторов, которые также могли способствовать развитию мелодики второго типа. Не исключено, что данный тип мелодики был известен в языке в более ранний период, однако характеризовал не литературное произношение, а один из слоев городского просторечия. В этом случае развитие данной мелодики в последние 50 лет можно объяснить с социолингвистической точки зрения как распространение соответствующего явления из просторечия в сферу литературного языка. Однако в настоящее время автор не располагает документальными свидетельствами об интонации и мелодике просторечия в начале века, которые могли бы подтвердить высказанное здесь предположение. В пользу данного предположения косвенно свидетельствует тот факт, что повышение мелодики характеризует в настоящее время преимущественно речь жителей города. В речи сельского населения или недавних выходцев из деревни, по имеющимся наблюдениям, мелодика второго типа либо совсем отсутствует, либо проявляется более слабо. Этот факт свидетельствует о том, что процесс развития новой мелодики является исключительно, или преимущественно, городским процессом. Иначе говоря, помимо общеязыковых предпосылок, а также общекультурной ситуации, очевидно, существовали какие-то дополнительные факторы, которые стимулировали описанный процесс именно в речи городского населения.

Следует также упомянуть свидетельства о широком распространении в 10-20 годах стиля публичных выступлений, для которого было характерно резкое повышение голоса⁵. Заметим, что

⁵ На это явление, как на возможный источник дискантной манеры произношения, мне указал Вяч. Вс. Иванов.

дискантный тип произношения связан с частичным отключением голосовых связок и поэтому является более экономным в условиях большого напряжения голосового аппарата. Это обстоятельство могло обусловить распространение соответствующей манеры в ораторской речи; большой вес, который приобрела публичная речь в указанную эпоху, мог послужить причиной того, что данная манера стала распространяться и за пределами определенной ситуации общения и определенного стиля и превратилась в общую произносительную норму.

В последнее время появился ряд исследований, в которых было экспериментально показано, что повышение мелодики возникает в речи в том случае, когда говорящий хочет сдержать свои эмоции (3;21;23;24;26). С точки зрения, описанных явлений данный феномен получает естественное объяснение: свободно вибрирующие голосовые связки наиболее чутко реагируют на эмоциональное состояние говорящего, в то время как ограниченные вибрации и частичное отключение связок пресекает прямое воздействие эмоциональных импульсов на характер речеобразования. В связи с этим интересно отметить, что "дискантное" произношение особенно ярко проявляется в ситуациях, когда говорящий усиленно контролирует эмоциональный тонус своей речи: в разговоре с ребенком, в подчеркнуто вежливой манере общения с клиентом в определенных ситуациях (например, в обращении к особо уважаемому клиенту) и т.п.

Психологическая функция высокого голоса (в особенности у мужчин) как знака сдерживаемой эмоции интуитивно осознается многими людьми, в особенности творческими личностями, для которых характерно особенно острое восприятие психологических и социальных типов. Данная функция неоднократно использовалась при создании психологических портретов в литературных произведениях и в музыкальной драме. Ср., например, следующую сцену из "Театрального романа" М.Булгакова, в которой герой пытается сдержать волнение перед началом обсуждения его пьесы:

"Ясным, твердым, звучным голосом я сообщил, что и завтрак и обед, и отказался в категорической форме и от нарзана и клюквы.

- Тогда, может быть, пирожное? Ермолай Иванович известен на весь мир своими пирожными!..

Но я еще более звучным и сильным голосом (впоследствии Бомбардов, со слов присутствующих, изображал меня, говоря: "Ну и голос, говорят, у вас был!" - "А что?" - "Хриплый, злобный, тонкий...") отказался и от пирожных."

Ср. также использование самого высокого мужского голоса (тенора-дисканта) в качестве постоянной реализации соответствующего амплуа в психологических музыкальных драмах Вагнера (Миме, Логе - "Кольцо Нибелунга", Мелот - "Тристан и Изольда") и Мусоргского (Шуйский - "Борис Годунов", Голицын - "Хованщина"), т.е. именно у тех композиторов, которые отличались особенной остротой психологической характеристики персонажей и стремлением приблизиться к естественному звучанию речи. Любопытно в этой связи следующее высказывание А.Н.Островского - писателя, для которого характерен особенно сильный интерес к живой речи, о театре Корша: "Он, кажется, делец, но как о человеке я не могу сказать о нем ничего. Одно мне подозрительно, - говорит тонким голосом, а уж эти мне тенора! Много знал я их и один чище другого. Теперь я взял такую манеру, как только кто тенором заговорит, остерегаюсь!" (П.Н.Невезин. Воспоминания об А.Н.Островском, в кн.: "Ежегодник императорских театров", вып.6, 1910)⁶.

Разумеется, в современной речи мелодика второго типа перестала играть роль знака определенного психологического состояния, превратившись в общезыковую норму произношения, которая автоматически усваивается и воспроизводится всеми говорящими. Однако не исключено, что одним из факторов, действовавших в процессе развития данной речевой манеры, явились определенные психологические предпосылки.

Наконец, в качестве еще одного возможного источника мелодики второго типа, имеющего еще более широкий общекультурный характер, укажем на широкое распространение в последние десятилетия традиции унисонного хорового пения, и напротив, угасание, в силу ряда причин, традиции массового многоголосного пения. Для унисонного пения характерна тенденция к экспрессивному повышению тона и детонированию, которая в условиях многоголосия подавляется благодаря наличию взаимного звуковысотного контроля между различными голосами. Данная причина представляется немаловажной, учитывая те многообразные связи между речевой манерой и характером пения, на которые указывалось выше.

Каковы бы ни были причины и пути возникновения нового типа речевой мелодики, следует еще раз подчеркнуть, что в

⁶

На это высказывание обратил мое внимание Ю.М.Лотман.

настоящее время этот тип стал нормой произношения и употребляется носителями русского литературного языка безотносительно к тем социолингвистическим, психологическим и культурным факторам, которые могли способствовать его развитию. В современных условиях психологическое либо стилистическое значение приобретают, напротив, все отклонения от основной произносительной нормы как в сторону мелодики первого типа, так и в направлении чрезмерного усиления явлений, связанных с звуковысотной и тембровой характеристикой мелодики второго типа. Исследование распространения мелодики второго типа за пределами русской литературной речи, а также в других языках⁷, позволит в дальнейшем точнее определить как собственно фонетическую, так и социолингвистическую природу этого явления.

Л и т е р а т у р а

1. Брызгунова Е.А. Практическая фонетика и интонация русского языка. М., 1963.
2. Buning J.E., Schooneveld C.H. van. *The Sentence Intonation of Contemporary Standard Russian as Linguistic Structure.* s'Gravenhage, 1960.
3. Ekman P., Friesen W.V., Scherer K.R. *Body Movement and Voice Pitch in Deceptive Intonation.* - "Semiotica", 16:1, 1976.
4. Гаспаров Б.М. Устная речь как семиотический объект. - "Семантика номинации и семиотика устной речи" ("Ученые записки ТГУ", вып.442), Тарту. 1978.
5. Gasparov B., Paperno V. *The English Oral Text: A Typological Study.* - "Linguistica", X. Tartu, 1978.
6. Златоустова Л.В. Фонетическая структура слова в потоке речи. Казань, 1962.
7. Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения. М., 1976.
8. Колшанский Г.В. Паралингвистика. М., 1974.

⁷ См., в частности, сравнительный анализ звуковысотной и тембровой характеристики английской и немецкой речи, проведенный К.Шерером (22). Автор приходит к выводу о наличии в немецком языке явлений, весьма сходных с описанными в настоящей работе. Тем не менее контраст между русской мелодикой, с одной стороны, и немецкой и английской, с другой, является настолько сильным, что различия между немецкой и английской мелодикой, по-видимому, можно признать не выходящими из пределов единого фонетического типа.

9. Кротевич Е.В. Интонационный рисунок предложений с обособленными синтагмами. - "Вопросы славянского языкознания", вып. I. Львов, 1948.
10. Лаптева О.А. Русский разговорный синтаксис. М., 1976.
11. Lafon I.C., Juichard J. Principes d'étude objective de la voix et de la parole. Besançon, 1971.
12. Николаева Т.М. Интонация сложного предложения в славянских языках. М., 1969.
13. Николаева Т.М. Фразовая интонация славянских языков. М., 1977.
14. Оливернус Э.Ф. Динамика, ритм и мелодика русского языка. - "Русký jazyk", гос. 17, 1966.
15. "Развитие фонетики современного русского языка". М., 1966.
16. "Развитие фонетики современного русского языка". М., 1971.
17. "Русская разговорная речь". М., 1973.
18. "Русский язык и советское общество: Фонетика современного русского литературного языка". М., 1968.
19. Успенский Б.А. Проблемы лингвистической типологии в аспекте различения "говорящего" (адресанта) и "слушающего" (адресата). В кн.: "To Honour Roman Jakobson", v. 3. The Hague - Paris, 1967.
20. Шведова Н.Ю. Активные процессы в современном русском синтаксисе. М., 1966.
21. Scherer K.R. Judging Personality from Voice: A Cross-Cultural Approach to an Old Issue in Interpretational Perception. - "Journal of Personality", v.40, No 2, 1972.
22. Scherer K.R. Voice Quality Analysis of American and German Speakers. N.Y., 1974.
23. Scherer K.R., Koivumaki J., Rosenthal R. Minimal Cues in the Vocal Communication of Affect: Judging Emotions from Content-Masked Speech. - "Journal of Psycholinguistic Research", v.1, No 3, 1972.
24. Scherer K.R., London H., Wolf J.J. The Voice of Confidence: Paralinguistic Cues and Audience Evaluation. - "Journal of Research in Personality", 7, 1973.
25. Шигаревская Н.А. Очерки по синтаксису современной французской разговорной речи. Л., 1970.
26. Streeter A., Krauss R.M., Geller V., Olson C., Apple W. Pitch Changes During Attempted Deception. - "Journal of Personality and Social Psychology", v.35, No 5, 1977.

**ДИНАМИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТАВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В СОПОСТАВЛЕНИИ С
ОБОСОБЛЕННЫМИ ВТОРОСТЕПЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ, АСИМЕНДОНОМ, ГИ-
ПОТАКСИСОМ И ПАРАТАКСИСОМ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА)**

Ю.М. Златопольский

Настоящая работа представляет собой частный результат экспериментально-фонетического исследования интонации вставных и сопоставляемых с ними единиц в современном русском языке, проведенного в Ленинградской лаборатории им.Л.В. Шербы на интонографе "Тон - 2".

Актуальность поставленного в статье вопроса обусловлена, прежде всего, недостаточно четким стграничением вставных и невставных единиц в современном языкознании. Достаточно сказать, что до недавнего времени грамматическая природа вставных конструкций оставалась большей частью предметом беглых замечаний чисто констатирующего плана. В силу этого нельзя было ожидать согласного мнения о том, какие синтаксические единицы следует обозначить термином "вставная конструкция", каковы их структурные типы.

Правомерной представляется точка зрения авторов академической грамматики, полагающих, что вставными могут быть структурные типы предложений, а также словосочетания и отдельные слова (I).

Проблемы гипотаксиса и паратаксиса, равно как и обособления, хотя и ставились в связи с проблемой вставки, но не получили достаточного освещения в научной литературе. Наиболее четко они решаются в работах А.И.Аникина(2) и Т.Р. Котляр (3), где в качестве структурных разновидностей вставных выделяются конструкции, по форме совпадавшие с придаточными и обособленными второстепенными членами. Что же касается авторов академической грамматики, то они в качестве вставных приводят примеры паратактических конструкций. Мы считаем, что оформление обособленных второстепенных членов, частей сложного бессоюзного, гипо- и паратактических единиц при помощи специфических знаков препинания - тире и скобок - отражает их интонационную специфику, определенные новые семантические оттенки, что переводит тем самым данные синтаксиче-

ские конструкции в разряд вставных в качестве особых их разновидностей: вставного обособления, вставного асиндетона, вставного гипо- и паратаксиса.

Таким образом, мы полагаем, что вышеперечисленные типы вставок, сохраняя присущие им в невставном функционировании характеристики, приобретают в то же время несколько более важный семантический вес в основном предложении, интонационно отчуждаясь от него и функционируя более автономно.

Введение вставных конструкций в контекст связано с анаколуфией ("разрывом правильной формально-синтаксической связи между элементами высказывания" (4)), которую некоторые исследователи характеризуют как особый вид связи; такова, например, "соотносительная связь" у А.Г.Руднева (5).

Мы полагаем, что нет оснований для выделения подобного рода связей, носящих не синтаксический, а семантический характер. Смысловые отношения лишь тогда становятся грамматическими, когда обретают формальное выражение, закрепляясь как языковая модель (6). Там, где происходит анаколуфический разрыв регулярных связей – согласования, управления, примыкания – ведущую роль начинает играть интонация, передающая различные смысловые соотношения.

Проблемы интонации осложненного предложения ставились уже А.М.Пешковским (7).

Довольно широк круг исследований, посвященных интонации сложного предложения и обособления (8).

Специально же интонации вставных посвящены единичные экспериментальные работы: на материале русского языка можно назвать лишь диссертацию Р.М.Романовой (9).

Таким образом, сопоставления вставных единиц с обособлением, асиндетоном, гипо- и паратаксисом, по сути дела, не проводилось, а динамические характеристики их вообще не подвергались инструментальному анализу, что и обусловило необходимость решения вопроса, ставящегося в данной работе.

Методика исследования заключалась в следующем. Дикторам Б. (мужчина) и Г. (женщина) – носителям русского литературного языка, филологам по образованию, 27 и 25 лет – предлагались фразы, абсолютно идентичные по лексическому составу, но оформленные 3-мя типами знаков препинания – запятыми, тире и скобками.

Стремясь к тому, чтобы материал был более разнообразным

и представительным, мы постарались представить его всеми структурными типами – словом, словосочетанием и предложением. При составлении экспериментального материала учитывается и способ включения вставки в контекст – союзный и бессоюзный, а также позиция исследуемых единиц в пределах основного предложения.

На основе предлагаемых структурных типов вставных конструкций при дальнейшей разработке экспериментального материала учитывались следующие условия:

1. Соответствие структурных типов исследуемых единиц (обособление, представленное отдельной словоформой – вставная словоформа, вставное предложение – невставное предложение и т.д.);

2. Позиция в пределах основного предложения (середина или конец);

3. Предварительные мелодические характеристики препозитивной части основного предложения (ударение на последнем/непоследнем слоге), что определяет изменения интонации основного предложения;

4. Предельно возможная краткость фразы.

Фразы извлекались из лингвистических произведений. Все предложения, подготовленные для эксперимента, носят повествовательный характер, эмоционально нейтральны. Всего дикторам было предъявлено 196 фраз.

На основе полученных 392 интонограмм проводился анализ интенсивности (с учетом каждого звука фразы). При помощи линейки нами измерялись максимальная и минимальная величины отклонений верхней половины осциллограммы от условной средней линии, а также начальная и конечная точка каждого звука (единица измерения – мм).

Поскольку абсолютные величины интенсивности каждого звука зависят от его качества, нами учитывались лишь относительные характеристики данного элемента интонации (равно как и мелодики) на каждом участке эксперимента, что было возможно в связи с абсолютно идентичным фонемным составом каждой отдельной взятой группы фраз с различным пунктуационным оформлением.

Анализ интенсивности – как одного из важнейших (наряду с мелодикой, темпом) компонентов интонации начнем с приведенного в качестве примера сопоставительного графика 1: фраз 1 (с обособлением, оформленным запятой), 2 (с вставной,

оформленной тире) и 3 (со вставной в скобочном оформлении) в произношении диктора Г.

Динамическая структура как основного предложения ("устанавливается характер кривых"), так и исследуемых единиц ("изоглосс") убывающая.

Лишь у вставной в скобочном оформлении мы отмечаем усиление интенсивности в конце синтагмы (и в данном случае - в конце всей фразы).

Интервал интенсивности на границе с основным предложением во фразе 1 (с обособленным определением, выраженным отдельным словом) равен 0 (0,5-0,5), во фразе 2 (со вставным обособленным словом, оформленным тире) несколько увеличивается (1-0,5) и составляет 0,5 мм, а у вставной, оформленной скобками, еще более возрастает, достигая 2 мм (2,5-0,5).

Амплитуда интенсивности обособления в данном случае ("Изоглосс") равна 10,5 мм (0,5-II-I), а ударного слога - 7 мм (I-8-I).

Указанные параметры уменьшаются у вставной единицы, оформленной тире, а еще больше - у вставной, оформленной скобками, и составляют соответственно: 9 мм (0,5-9,5-0,5) и 5,5 мм (I-6-0,5), 6,5 мм (0,5-7-I,5) и 2 мм (2,5-I-3-I,5).

Основные характеристики интенсивности, отмеченные выше, присущи в главных чертах всей группе исследуемых фраз.

В большинстве своем все анализируемые единицы (вставные и невставные) обладают убывающей динамической структурой, равно как и пре- и постпозитивная части основного предложения.

Однако у невставных единиц довольно часто отмечается и более интенсивное произношение конца синтагмы: в интерпозиции - в 50% фраз, в постпозиции - 40%. Реже это отмечается у вставки, соответственно: 20% и 25%.

Препозитивная часть основного предложения также довольно часто оформляется усилением интенсивности финальной части: при интерпозиции вставки - в 35% случаев, невставных - 40%, а при постпозиции - по 10%.

Амплитуда интенсивности исследуемых единиц и их ударных слогов уменьшается у вставных по сравнению с AI^I невста-

I. AI - амплитуда интенсивности.

вного обособления, асиндетона, гипо- и паратаксиса. При этом максимальная разность составляет 6 мм, а минимальная - 0,5 мм.

Амплитуда интенсивности пре- и постпозитивной частей основного предложения при интерпозитивном включении вставных и невставных единиц увеличивается (соответственно 60% и 35%) или уменьшается (40% и 65%) по сравнению с соответствующими показателями фраз - эталонов^I, а при постпозиции - уменьшается.

АИ ударного слога в препозитивной части основного предложения при интерпозиции исследуемых единиц преимущественно увеличивается (75%), а при постпозиции - уменьшается (85%).

Амплитуда интенсивности ударного слога постпозитивной части в равной степени может изменяться в ту или иную сторону (по 50%) в сравнении с фразами - эталонами.

Таким образом, АИ частей основного предложения и их ударных слогов не зависит от характера вводимой синтаксической единицы и основой их дифференциации быть не может.

Обратимся к интервалам интенсивности на границе с основным предложением.

Ими могут обладать как невставные обособленные второстепенные члены, части сложного бессоюзного, гипо- и паратактических конструкций, так и все типы вставных, однако у вставных единиц величина динамических интервалов непременно возрастает: разность составляет 0,5-7,5 мм - на границе с препозитивной частью основного предложения и 0,5-2 мм - на границе с постпозитивной.

При постпозиции исследуемых единиц интервалы интенсивности несколько уменьшаются (правда, нерегулярно) по сравнению с величиной П интервала в интерпозиции.

Интервалы интенсивности невставных единиц могут быть и нулевыми (I-25% - в интерпозиции и 35% - в постпозиции; П-50%), что совершенно нехарактерно для вставных.

Интервал интенсивности на границе с постпозитивной частью основного предложения в большинстве случаев является положительно выраженной величиной (в интерпозиции вставных

I. Фразы без исследуемых единиц.

и невставных конструкций - по 82,5%, а в постпозиции - соответственно: 77,5% и 65%), как и на границе с постпозитивной частью у невставных единиц.

Вставные же в последнем случае обладают преимущественно отрицательно выраженным динамическим интервалом (72,5%).

Вставки, оформленные скобками, произносятся с меньшей амплитудой интенсивности и большими динамическими интервалами, чем вставки, оформленные тире.

В отдельных случаях эти показатели совпадают (22%).

Итак, вставные и сопоставляемые с ними в данной статье единицы в динамическом аспекте дифференцируются на основе величины амплитуды интенсивности анализируемых конструкций и их ударных слогов, а также интервалов на границе с основным предложением. Специфическими для русского языка являются следующие черты:

1. Более интенсивное произношение конца невставных единиц.

2. Уменьшение величины динамического интервала при постпозиции исследуемых единиц по сравнению с интерпозицией.

3. Отрицательное выражение II интервала вставки.

Таким образом, анализ динамических характеристик исследуемых единиц подтверждает нашу гипотезу о дифференциации вставного обособления, асиндетона, гипо- и паратаксиса и соответствующих им невставных конструкций на основе различия их интонации, существенным компонентом которой является интенсивность.

Л и т е р а т у р а

1. Грамматика русского языка. Издание П. М., изд-во АН СССР, 1960, т. 2, Синтаксис, стр. 167.
2. Аникин А. И. Предложения с вставными конструкциями в произведениях В. И. Ленина. - Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина, № 423, М., 1971.
3. Котляр Т. Р. Вставочные конструкции в современном английском языке. Саратов, 1962.
4. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. "Советская энциклопедия", М., 1966, стр. 43.
5. Руднев А. Г. Синтаксис современного русского языка. М., Высшая школа, 1963.
6. Кротевич Е. В. О связях слов. Изд-во Львовского университета, 1959, стр. 7.
7. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. Изд.-6, Учпедгиз, 1938.

8. Николаева Т.М. Интонация сложного предложения в славянских языках. М., 1969.

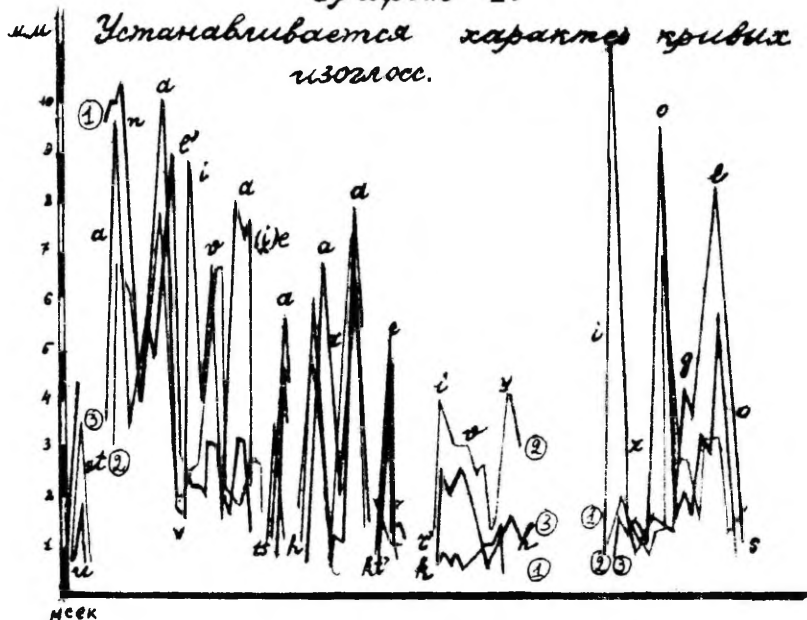
Каминская О.В. Интонация сложно-подчиненного предложения с союзом *and* в современном английском языке в сопоставлении с интонацией аналогичных предложений в русском языке. АКД, 1956.

Антипова А.М., Торусева Е.И. Интонация сложноподчиненного предложения в современном русском языке. - ВФФ, 1977 г.
 Любимова Н.А. Мелодика обособленных предложений в русском языке. - Уч. зап. ЛГУ, 1964, № 325.

Кротович Е.В. Интонационный рисунок предложения с обособленными синтагмами. - ВСЯЛ, книга 1, 1948.

9. Романова Р.М. Мелодика вводных и вставных предложений в современном русском языке. Кандидатская диссертация. Л., 1970.

График 1.



Примечания:

1. Пробелы на месте знаков препинания являются инвариантами трех пунктуационных знаков (запятой, тире, скобок).
2. ① - фраза с единицей, оформленной запятой, сопоставляемая со вставными конструкциями;
 ② - фраза со вставной, оформленной тире;
 ③ - фраза со вставной, оформленной скобками.

УСТНАЯ РЕЧЬ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

Л.Я. Гинзбург

I

Спонтанная устная речь никоим образом не адекватна прямой речи литературных персонажей, речи сознательно построенной автором, выполняющей определенные художественные задачи. И все же до появления стенографии, до изобретения механических способов записи произносимого слова, художественная литература — наряду с историческими хрониками и мемуарами — была единственным средством воспроизведения устной речи: вернее, тех представлений об устной речи, которые существовали в определенной среде в определенную эпоху. Вот почему теоретическое понимание природы устной речи, особенно природы диалога может быть существенно для анализа художественной прозы. И наоборот, — анализ этот может осветить дополнительно некоторые проблемы человеческого разговора, в особенности проблему движущих разговором психологических мотивов.

Среди всех средств литературного изображения человека (его наружность, обстановка, жесты, поступки, переживания, относящиеся к нему события) особое место принадлежит внешней и внутренней речи действующих лиц. Все остальное, что сообщается о персонаже, не может быть дано непосредственно; оно предстает перед читателем в переводе на язык слов. Только изображая речь человека, писатель не меняет систему знаков, и средства изображения тождественны тогда предмету изображения. Прямая речь персонажей обладает поэтому возможно — стями непосредственного и как бы особенно достоверного свидетельства об их психологических состояниях.

Реализм девятнадцатого века предложил читателям героев, которые разговаривают как в жизни. Такова установка — очень существенная для всей поэтики реализма. Но не следует понимать ее буквально. В литературном произведении не говорят как в жизни, потому что литературная речь организована. Она представляет собой художественную структуру, подчиненную за-

дачах, которых вовсе не знает подлинная разговорная речь. В литературном диалоге персонаж подавал свою реплику, потому что писателю нужно было дополнить изображение характера или миропонимания данного лица, или высказать его устами свое, авторское мнение, или изобразить среду и нравы, или подтолкнуть развитие событий.

Любое – даже самое натуралистическое – изображение прямой речи условно (в большей или меньшей степени). Уже в диалогах персонажей романов XIX века нередко фиксировались признаки устной речи: отрывочность, повторения, дигрессии, пропуски смысловых звеньев, отклонения от грамматической нормы. Но все это обычно отдельные признаки, сигналы, сообщавшие читателю, что действующие лица разговаривают как в жизни. Никто, кажется, не ставил себе цели действительно услышать и воспроизвести устную речь. Ведь воспринимая эту речь, мы далеко не всегда слышим ее адекватно, мы непроизвольно ее "исправляем". Даже у стенографисток наблюдается тенденция в процессе записывания упорядочивать устный материал. Литература никогда практически не пыталась изобразить устную речь в подлинной ее дезорганизованности, со всей ее трудноуловимой смысловой спецификой.¹ Об этом в структурном мире художественного произведения читателю давали только намекать намеками, отдельными признаками.

Прямая речь литературных персонажей отличается от своего прототипа – разговорной речи не только материальной формой, но и основными своими функциями. Причем эти формы и функции претерпели глубокие изменения. Многовековой, затрудненный путь потребовался для того, чтобы мог возникнуть умыленно бессвязный, исполненный подводных течений диалог прозы XX века.

¹ О "позитивном смысле деструктурированности" устной речи, о признаках, из которых складывается ее "антиструктурирующая направленность" см. статью Б.М. Гаспарова, "Устная речь как семиотический объект. Семантика номинации и семиотика устной речи", вып. I. Тарту, 1978. В 1960–1970-х годах появился ряд работ, исследующих специфику синтаксиса, фонетики, семантики разговорной речи. См., например, сб. "Русская разговорная речь", М., 1973, под ред. Е.А. Земской; выпуски "Теория и практика лингвистического описания устной речи" (Горький) и др.

По поводу "возможных тенденций динамического взаимоотношения чужой и авторской речи" В.Волошинов (М.М.Бахтин) писал: "... Мы можем отметить следующие эпохи: авторитарный догматизм, характеризующийся линейным и безличным монументальным стилем передачи чужой речи (средневековье); рационалистический догматизм с его еще более отчетливым линейным стилем (XVII и XVIII век); реалистический и критический индивидуализм с его живописным стилем и тенденцией проникновения авторского реплицирования и комментирования в чужую речь (конец XVIII и XIX век) и, наконец, релятивистический индивидуализм с его разложением авторского контекста (современность)¹.

Здесь отмечено, в частности, что стилистическое и интонационное единообразие, неотделенность от авторского слова, иллюстративность — все эти черты прямой речи средневековой литературы (русской и западноевропейской) в какой-то, разумеется, видоизмененной форме присущи и высокой прозе эпохи господства рационализма, — даже аналитическому роману. "Принцесса Клевская" мадам де Лафайет — знаменитейший аналитический роман XVII века. Персонажи его разговаривают много, но разговоры их являются не предметом, а лишь средством анализа. Авторское повествование плавно входит в прямую речь и вновь из нее выходит, как бы этого не замечая. Речи героев сохраняют интеллектуальную ясность, логическое изящество при любых обстоятельствах — в пылу любовных объяснений, на смертном одре (предсмертное обращение принца Клевского к жене, которую он подозревает в измене).

Сентиментализм, смыкающийся с Просвещением, сохранил и в изображении прямой речи многие черты рационалистического подхода — логическую прозрачность, стилистическую нерасчлененность авторской и чужой речи и проч. Но появилось и иное. Сентиментализм, не отрываясь от рационализма, применял его методы к другому материалу, к страстям и чувствам другого социального качества. Появился отчетливо выраженный эмоциональный тон, особая экспрессия чувствительной души, общая для речи автора и речи героя. Героя, посредством которого литература познавала душевную жизнь в высших ее проявлениях. Ко —

¹ В.Н.Волошинов. Марксизм и философия языка. Л., 1930, с. II8—II9, I2I.

мический персонаж сентиментально-просветительской, впоследствии и романтической прозы существовал по другим законам, преимущественно связанным с традицией низших жанров классицизма. В прямую речь комического персонажа прозы – как и в речь персонажа классической комедии, позднее мещанской драмы – проникало бытовое, социально характерное.

Это относится и к русской сатире и русской комедии второй половины XVIII века. Русские сатирические журналы уделяли много внимания критическому изображению прямой речи.

Натуралистическая "живописность" русской сатиры XVIII века доходила даже до опытов фонетического воспроизведения осмеиваемой речевой манеры. Так, например, в комедии А.Копьева "Что наше, тово нам и не нада" (1794):

"Княгиня (испугавшись): Ах, матушка! Съто йта, паскари... ай! муха...

Machmere : Ах, мать ма! што йта за беда? Ну, провались ана окайна! Ат тебя я эту пракляту девятку залажила, бог знает куды, да што у вас там?

Княгиня: Ницево-с... ох, тиотуська, как вы скусьны! Мавруся!

Мавруша: Чево-с?...

Княгиня: Так ницево; дусинька Мавруся! Пади сюды!

Мавруша (подходит к ней): Што, ма *cousine*?

Княгиня: Да съто ты пристава ко мне? Пади проць!

Мавруша: Да вить вы сами кликали: ах, ма *cousine*, знаете, шта вы севодни больше блажите, нежели обыкновенно!"¹

Так ведут себя "низкие" персонажи комедийно-сатирических жанров. Для речей же высоких героев дореалистической прозы и для авторской речи существует единая стилистика. И это закономерно. Ведь автор и несущий основную идеологическую нагрузку герой принадлежат к одному пласту культуры, обладают тем же строем духовной жизни. Таков романтизм, и только в позднем романтизме кристаллизуются элементы нового, реалистического направления, отсюда и новые формы прямой речи – характерной, дифференцированной, исторически и социально окрашенной. Вместе с тем, возрастает стремление к натуральному изображению устной речи, с ее неправильностями, переборами, со всей ее особой физической фактурой. Юлия, героиня романа Руссо "Новая Элоиза" (одного из великих романов XVIII века), умирая, в течение нескольких дней произносит странненькие назидательные речи (вступает даже с пастором в спор

¹ "Что наше, таво нам и не нада". Комедия в одном действии, сочиненная А.Копиевым. СПб., 1794, стр. 15-16.

о церковном догмате воскресения во плоти), отличающиеся логическим построением и изысканностью слога. Руссо не интересуется вопросом об эмпирической возможности данных речей в данной ситуации, — ему достаточно их идеального соответствия возвышенной, самоотверженной смерти героини. Нюкогда у Бальзака умирает старик Горио, его экспрессивная речь отражает и физические мучения; она сопровождается стоном, задыханием, кашлем. Бальзак таким образом уже ставил перед собой задачу художественного воспроизведения психофизиологических особенностей устной речи.

Ранний реализм — в том числе, например, физиологический очерк, натуральная школа и т.п. — сохранял еще связь с сатирической, нравоописательной традицией XVIII века. Сохранял ее, в частности, в трактовке прямой речи персонажей. Созревающий реализм освобождается от этих связей, тем самым и от методологического разнобоя в подходе к персонажам разного уровня. Речь главных, несущих идеологическую нагрузку героев уже не дублирует авторскую речь. Она также становится социально характерной, иногда и физически выразительной. В то же время она всегда сохраняет свою художественную целенаправленность и структурность.

Организованный характер литературных воспроизведений разговорного слова особенно очевиден, если обратиться к мемуарной, вообще документальной прозе. Именно здесь, казалось бы, должно иметь место близкое воспроизведение подлинных разговоров действительно существовавших людей. На самом деле имеет место совсем другое. По памяти разговор нельзя точно восстановить не только через десятки лет (так иногда пишутся мемуары), но и через самый короткий срок.¹ Реальное синтаксическое движение устной речи обычно вообще не запоминается; память его выравнивает. Содержание сказанного запоминается в общих очертаниях и воспроизводится с большей или меньшей мерой приближения — в зависимости от давности, от силы памяти, от разных других обстоятельств.

¹ Чрезвычайно, разумеется, возрастает достоверность разговоров, сразу же записанных. Но, вероятно, и Эккерман заботился о верной передаче мыслей Гете, а не о точном воспроизведении его устной речи.

Притом у мемуариста есть свои задачи и установки — идеологические, литературные, личные, согласно которым он перерабатывает свой материал, в том числе разговоры — свои и чужие. Стиль мемуариста иногда совершенно прямолинейно, иногда более сложным и противоречивым образом, но всегда соотносен с литературными стилями его времени. И писательская манера (если мемуарист — писатель) накладывает свою печать на воспроизводимые речи действующих лиц.

В документальной прозе — как и в художественной — прямая речь выступает в самых разных формах, — видоизменявшихся — ся вместе с литературными методами. Например, во французских мемуарах XVIII века преобладает — иногда всецело господствует — повествование. Прямая речь растворяется в нем, дается цитатно или предстает в виде реплик, стилистически неотличимых от авторского повествования. Все это черты, присущие и роману эпохи.

Впрочем, и в позднейшее время мы встречаемся с мемуарами, в которых прямая речь вытеснена повествованием и авторским анализом. В русской литературе к этому типу принадлежат, например, такие знаменитые образцы мемуарного жанра, как "Воспоминания" Вигеля, как "Замечательное десятилетие" Анненкова. В них почти отсутствуют попытки воспроизведения устной речи. Отмечу, что ни Вигель, ни Анненков не писали художественную прозу. Зато в мемуарах Короленко ("История моего современника") прямая речь действующих лиц строится по тому же принципу, что и в его художественных произведениях. Это относится и к автобиографической прозе Горького.

Герцен также работал как писатель над многочисленными диалогами "Былого и дум". Он нисколько этого не скрывает, изображая во всех подробностях и оттенках разговоры, от которых его отделяют десятилетия, воспроизводя с такой же наглядностью разговоры, при которых он не присутствовал. Вот одна из подобных "заочных" сцен. В четвертую часть "Былого и дум" включен "эпизод из 1844 года" — история женитьбы В.П. Боткина на юной француженке Арманс, работавшей швейей в модном магазине на Кузнецком. На пароходе новобрачные разошлись в оценке романа Жорж Санд "Жак".

"Умиравшая от морской болезни Арманс собрала последние силы и объявила, что мнения своего о Жаке она не переменит. — Что же нас связывает после этого? — заметил сильно расходившийся Боткин. — Ничего, — отвечала Арманс, — *et si vous me*

chercher querelle, так лучше просто расстаться, как только коснемся земли. — Вы решились? — говорил Боткин, петушась. — Вы предпочитаете?.. — Все на свете, чем жить с вами; вы несносный человек — слабый и тиран! — **Madame! — Monsieur!** — Она пошла в кайту, он остался на палубе. Арманс сдержала слово: из Гавра уехала к отцу ... и через год возвратилась в Россию одна...»

Ни Боткин, ни Арманс не разыгрывали в лицах перед Герценом эту сцену. Герцен создал ее, исходя из известных ему фактов и из своего представления о характерах действующих лиц. Этот отточенно-литературный диалог Герцен открыто включает в мемуарный текст, потому что для него "Былое и думы" — организация и структурная переработка действительно бывшего. Работая над речью героев "Былого и дум", Герцен явно исходил из того, как должны говорить люди той или иной исторической формации, социального склада — крепостные слуги и жандармы, вятские чиновники и Грановский.

В главе XXVI "Былого и дум" Герцен изобразил сверстницу и приятельницу своего отца — Ольгу Александровну Жеребцову (она была сестрой последнего фаворита Екатерины — Платона Зубова). Разговоры Жеребцовой у Герцена заставляют вспомнить исторические анекдоты и портретные зарисовки из "Старой записной книжки" Вяземского, пушкинский "Table-talk" и в особенности "Разговоры Загряжской". В 1835 году Пушкин записывал фрагменты устных рассказов Наталии Кирилловны Загряжской, некогда фрейлины дворов Елизаветы Петровны и Екатерины П. Смесь иноязычия, французского остроумия и русской старинной "простонародности" представлена здесь с необычайной остротой. "Orloff était régicide dans l'ame, c'était **semmе une mauvaise habitude**. Я встретила с ним в Дрездене, в загородном саду. Он сел подле меня на лавочке. Мы разговорились о Павле I. "Что за урод? Как это его терпят?" — Ах, батюшка, да что ж ты прикажешь делать? ведь не задушить же его? — "А почему ж нет, матушка?" Трудно сказать, что принадлежит в этих записях попыткам воспроизведения подлинной речи, а что тончайшей пушкинской стилизации, пушкинскому проникновению в языковую плоть разных исторических культур.

В своих "Воспоминаниях о Блоке", оправдываясь перед читателями в том, что он не приводит подлинные слова Блока, — Андрей Белый писал: "Я слышу: устраните себя, дайте вместо себя покойного. И — нет, не могу... На расстоянии восемнадцати лет невозможно восстановить слова и даже внешнюю линию

мысли, не привирая, — а привирать не хочу... Теперь, когда хочу воспроизвести слова А.А., я с глубоким удивлением, досадой, отчаянием даже вижу, что они все канули в безгласную бездну забвения. Зато итог сказанного, жест сказанного — передо мною стоят, как живые отчетливые фотографии, я не имею даже права сказать себе: отчего я не записал этих слов тогда еще. Если бы я их записывал, вытаскивая исподтишка книжечку, как это делали иные из посетителей Л. Толстого, то никогда между мной и А.А. не произошло бы тех незабываемых жизненных минут"...¹

Здесь любопытно уоминание о вытаскивавших книжечку посетителей Льва Толстого. Не знаю, кого именно имел в виду Белый, но вот что рассказывает Гольденвейзер в предисловии к первому изданию своей книги "Вблизи Толстого": "Записывал я обычно так: я всегда имел при себе карандаш и небольшие листки бумаги, на которых сейчас же, отойдя в сторонку или незаметно под столом, иногда даже в кармане, сокращенно записывал слова Льва Николаевича и реплики других. Думаю, что Лев Николаевич ни разу не заметил, что я записываю... Слова Льва Николаевича я старался записывать, сохраняя особенности его устной речи, не сглаживая естественные в разговоре синтаксические неправильности, повторения, необычную расстановку слов... Хочется надеяться, что мне удалось хоть кое-где сохранить живую речь Льва Николаевича, часто совсем непохожую на его своеобразный писательский стиль"².

Текст воспоминаний не свидетельствует, однако, об удаче этого опыта. Речь Толстого вполне упорядочена и звучит в достаточной мере книжно. Например: "Я с радостью чувствую, что совершенно потерял способность интересоваться всем этим. Прежде, я помню, испытывал тщеславное чувство, радовался успеху. А теперь — и я думаю, что это не ложная скромность, — мне совершенно все равно. Может быть, это оттого, что слишком много испытал успеха. Как сладкое: поешь слишком много и пресытишься. Одно только мне радостно: во всех почти письмах, приветствиях, адресах — все одно и то же, это просто

¹ "Записки мечтателей", № 6, Пб., 1922, стр. 79—81.

² А.Б.Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М.—Л., 1959, с.33—34.

стало тризмом, что я разрушил религиозный обман и открыл путь к исканию истины. Если это правда, то это как раз то, что я и хотел и старался всю жизнь делать, и это мне очень дорого".

Если структурной переработке подвергается прямая речь в мемуарах, то тем более это относится к художественной прозе. Между тем уже с конца XIX – начала XX века характерный для эпохи интерес к бессознательному, к подсознательному, к психоанализу питал всевозможные опыты воспроизведения иррационального, алогического начала человеческого слова. В этой связи можно упомянуть и сюрреалистов, и французский "новый роман" и поэтику абсурда в прозе и драматургии Беккета и других. Писатели эти, однако, стремились не столько к воспроизведению подлинного алогизма, подлинной неорганизованности устной речи, сколько к тому, чтобы выразить алогизм самой жизни, изобразить разорванное сознание своих современников, уловить зыбкие состояния, возникающие на грани сознательного и подсознательного.

Наряду с этим существенным эстетическим фактом становится "случайный", как бы повседневный разговор с его подводными темами. У истоков этой поэтики стоит драматургия Чехова.

Уже "Иванов", а потом "Чайка" были встречены резкими протестами критики против никому не нужных и никуда не ведущих разговоров на сцене. Против всего того, что – применительно к Толстому – А.П.Скафтымов назвал открытием "тону са среднееждневного состояния человека". Сугубое раздражение критики вызвало, например, то, что действующие лица "Чайки" в самый напряженный драматический момент ни с того, ни с сего садятся играть в лото.

Картежная тематика, карточное аргю издавна проложили себе дорогу в художественную прозу, в драматургию, в частности в русскую стихотворную комедию XVII–XIX веков¹. В "ябде" Капниста, например (1796) мы находим стихотворный картежный диалог, не имеющий прямого отношения к развитию действия²:

¹ О проникновении карточной фразеологии в литературу см. В.В. Виноградов. Стиль "Пиковой дамы". Пушкин. Временник Пушкинской комиссии № 2. М.-Л., 1936.

² Диалог игроков, открывающий "Маскарад" Лермонтова, имеет прямое фабульное значение.

Наумыч.
Да что же на столе наличного нет мела?

Хватайко
А много ль в банке-то наличных?

Наумыч
Сотни три

Паролькин
Как ни смотри, ни зги в две талии не взвидит.

Атуев
А я боюсь, что он вельми нас всех обидит.

Хватайко
Снимайте: полно вам пороть-то дребедень.

Фекла
А мы по старине? по четверце познь?

Праволов
Когда угодно вам.

Фекла
И так же все с рефетом?

Праволов
На что сударыня! и спрашивать об этом.

Кривосудов
Жена! рефетом ты не замори гостей.

Несмотря на своего рода аналогию между этой сценой и сценой игры в лото в "Чайке", она, вероятно, не вызвала недоумения современников - в качестве непозволительно нова - торской. У Капниста разговор чиновников за картами - разговор нравоописательный. У Чехова разговор за игрой в лото не изображает ни нравов, ни быта людей, собравшихся в именин Сорина, он изображает течение их жизни, "среднеежедневное состояние".

Дело в том, что произведение искусства в принудительном, так сказать, порядке сообщает смысл и символическое значение всему, попадающему в его контекст. Вот почему в литературе прямая речь имеет двойную целенаправленность. Одну - в системе изображаемого писателем сознания персонажа (в этом ряду реплика может быть "бессмысленной"); другую - в целостной системе произведения, где каждая реплика обретает свою эстетическую направленность. Это полностью применимо и к драматургической системе Чехова.

"Тузенобах (берет со стола коробку). Где же конфеты?

Ирина. Соленый съел.

Тузенобах. Все?

Случайные реплики среди многих других реплик петляющего разговора. Но целостный контекст "Трех сестер" сообщает им значение: Соленый один съел предназначенные для всех конфеты, и замечает это Тузенбах, будущая жертва Соленого. Надо только помнить, что мы имеем дело не с тяжеловесным однозначным иносказанием, а с семантическими окрасками.

Навсегда знаменитой стала реплика Астрова, в мучительную для него минуту рассматривающего карту Африки на стене: "А, должно быть, в этой самой Африке теперь жарница — страшное дело!" Эту карту в начале последнего действия "Дяди Вани" вводит необычная авторская ремарка: "Клетка со скворцом. На стене карта Африки, видимо, никому здесь не нужная. Громадный диван, обитый клеенкой" и т.д. Странное для драматургической ремарки пояснение "видимо, никому здесь не нужная" — оно и открывает, зачем карта (предмет будущей реплики) нужна. Нужна неуместностью среди всех неуместных людей и судеб, нелепостью, возбуждающей неудержимую печаль.

В жизни случайность, скажем, случайная реплика имеет, как и все, свою обусловленность в своем причинном ряду, но для данного причинного ряда, для данной ситуации она может остаться внешней, необязательной. Но в искусстве отношение между причинными рядами не кончается на этом. Там есть демиург — писатель, который ввел случайный элемент со своей писательской целью и сообщил ему определенное структурное содержание. Поэтому в искусстве случайность — это только иллюзия случайности, только знаки, расставляемые писателем для того, чтобы создать "неотобранный мир".

Об этом мире существуют столь часто цитируемые высказывания самого Чехова, известные нам, впрочем, только в передаче мемуаристов: "Надо создать такую пьесу, где бы люди приходили, уходили, обедали, разговаривали о погоде, играли в винт, но не потому, что так нужно автору, а потому, что так происходит в действительной жизни"¹. И еще: "Пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как в жизни. Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни"².

¹ Воспоминания Д. Городецкого, "Биржевые ведомости", 1904, № 364.

² Воспоминания Арс. Г. (И. Я. Гурлянд), "Театр и искусство", 1904, № 28.

Люди обедают, люди играют в лото, люди нехотя и невпопад произносят бессмысленные фразы о жарнице в Африке, о том, что "Бальзак венчался в Бердичеве..." А в это время ломается их жизнь. И писатель знает, что он все же должен изобразить как ломается жизнь, что без этого пьесы не будет, а Бальзак в Бердичеве и прочее — это только условные знаки повседневности. Чехов все это знал и поэтому волею-неволей делал уступки законам сценичности, делал их по мере того, как все глубже и профессиональнее вращался в театре.

В юношеской, при жизни неизданной драме Чехова (1880—1881), условно именуемой "Безотцовщина" или "Платонов", удивительным образом переплелись наивный мелодраматизм с сознательным, последовательным стремлением создать диалог, отражающий повседневное течение жизни.

Трилецкий (встает). Так и запишем. (Вынимает из кармана записную книжку). Так и запишем—с, добрая женщина! (записывает) За генеральшей... за генеральшей три рубля... Итого с прежними — десять. Эге! Когда я буду иметь честь получить с вас эту сумму?

Глаголев I. Эх, господа, господа! Не видали вы прошлого! Другое бы запели... Поняли бы (вздыхает) Не понять вам! Войничев. Литература и история имеет, кажется, более прав на нашу веру... Мы не видели, Порфирий Семеныч, прошлого, но чувствуем его. Оно у нас очень часто вот тут чувствуется. (Бьет себя по затылку). Вот вы так не видите и чувствуете настоящего.

Трилецкий. Прикажете считать за вами, или сейчас заплачете?

Анна Петр. Перестаньте! Вы не даете слушать!

Трилецкий. Да зачем вы их слушаете? Они до вечера будут говорить!

Анна Петр. Сержень, дай этому юродивому десять рублей.

Войничев. Десять? (Вынимает бумажник). Давайте-ка, Порфирий Семеныч, переменим разговор...

Вот какого рода перекрестные разговоры создает двадцатилетний Чехов. В "Платонове" он не ограничен ни временем, ни правилами драматургии, ни законами сцены. Он еще вне практических условий и требований театральности. Если сравнить "Лешего" с "Дядей Ваней", то—есть ранний вариант пьесы с позднейшим, то видно наглядно, как Чехов, в принципе сохраняя случайные элементы диалога, в то же время отказывался от его неограниченной свободы, от бесконечного сплетения непредсказуемых и необязательных реплик. Отказывался не только в силу давления практических условий сцены, но и в силу нового понимания собственных драматургических принципов. Для диалога поздних чеховских пьес уже не нужен изо-

Бильный срой материал повседневности — достаточно отдельных напоминаний.

Ослабление внешних, фабульных связей разговорного слова подготавливало увлечение его подспудными возможностями. Эта тенденция зародилась еще в творчестве Толстого, ее разработал в своей драматургии Чехов. Особое значение имеет в этом плане и наследие Достоевского, с его напряженными, многозначительными диалогами. Но у Достоевского люди всегда говорят о самом главном, так или иначе сопряженном с их идеей, с их страстью; тогда как поэтика "подводных течений" оперировала охотно будничным, внешне бессодержательным речевым материалом.

Речевое выражение умышленно не совпадает теперь с интенцией говорящего. Оно подобно маске, надетой на подлинное лицо. Но маска эта, чтобы выполнить свое назначение, должна быть полупрозрачна. Читателю надлежит ведь угадывать то, что за нею скрыто. Ему даны для этого сюжетная ситуация, контекст. Возникает особое напряжение притяжения и отталкивания двух сосуществующих значений — спрятанного и явного. Эта соотношенность аналогична строению тропов, если под тропом понимать двупланное употребление слова, одновременно в значении прямом и переносном. Особенно близко это соотношение к механизму иронии, тропу, основанному на противоположности выраженного и подразумеваемого смысла.

Своего рода эталоном двупланного разговорного слова стали диалоги Хемингуэя.

Сюжетная ситуация подсказывает скрытые значения. Но этого недостаточно. Скрытое со временем становится явным. Читатель и его герои проговариваются. У Хемингуэя (и не у него только) текст нередко построен по принципу старой игры: человек ищет спрятанный от него предмет, а окружающие говорят ему: "холодно", "горячо" — в зависимости от того, приближается он или удаляется от цели своих усилий.

В хемингуэйевских диалогах тоже идет игра приближением — удалением; и каждое приближение заряжает текст нужными вторыми значениями. Поэтому диалог Хемингуэя — это искусно работающий механизм, и он вовсе не пригоден для изучения спонтанной устной речи, даже если имеет с ней внешнее сходство.

В маленьких рассказах Хемингуэя механизм работает

особенно четко. Классическим примером двупланного диалога стал рассказ "Белые слоны". Следует отметить, что во второй половине рассказа скрытый сначала мотив конфликта (мужчина хочет, чтобы девушка сделала аборт; она сопротивляется) становится уже достаточно явным. Маскировка плотнее, например, в раннем рассказе "Кошка под дождем". В итальянском отеле - чета путешествующих американцев, молодой американке хочется подобрать кошку, мокнущую под дождем. Это внешний план, внутренний же план, скрытый, - это неблагоприятие героини, томящее ее состояние душевной заброшенности. Рассказ, в основном, состоит из диалога, и подлинная тема то поднимается на поверхность, то опять уходит в глубину.

" - Хочу крепко стянуть волосы, и чтобы они были гладкие, и чтобы был большой узел на затылке, и чтобы можно было его потрогать, - сказала она. - Хочу кошку, чтобы она сидела у меня на коленях и мурлыкала, когда я ее глажу. - Мм, - сказал Джордж с кровати. - И хочу есть за своим столом, и чтобы были свои ножи и вилки, и хочу, чтобы горели свечи. И хочу, чтобы была весна, и хочу расчесывать волосы перед зеркалом, и хочу кошку, и хочу новое платье... - Замолчи. Возьми почитай книжку, - сказал Джордж. Он уже снова читал... - А все-таки я хочу кошку, - сказала она. - Хочу кошку сейчас же. Если уж нельзя длинные волосы и чтобы было весело, так хоть кошку-то можно?"

"И хочу есть за своим столом...", "Если уж нельзя...", чтобы было весело..." - в таких фразах сближаются планы двупланного диалога. "Горячо" - говорят в таких случаях по ходу игры.

Подобный диалог до предела организован. Все случайное в нем, все "необязательное" - только иллюзия.

2

Устная речь сопровождает все существование человека, служит самым разным задачам его частной и общественной жизни. Литература всегда имела дело с конфликтами человека, с отношениями между людьми. Поэтому, сопоставляя прямую речь персонажей с подлинной устной речью, мы сталкиваемся прежде всего с проблемами диалога, хотя бы обмена репликами или, наконец, монологических высказываний, рассчитанных на слушателя. И в данной связи особенно важны для нас мотивы и цели речевого высказывания.

Современная социолингвистика определяет социальную ситуацию речевого общения; ситуацию разных объемов - от самых

общих предпосылок Эпохи вплоть до ситуации данного момента, данного разговора. Наряду с ситуациями сугубо индивидуальными, случайными существуют и типовые, со своими относительно устойчивыми темами; своего рода жанры речевого общения. Жанры, определяемые условиями встречи, ее целью, социальными ролями ее участников.

Устойчивость этих типовых форм имеет свою градацию. От более или менее непредвзятого обмена репликами при встрече знакомых до форм жестко регламентированных; например, экзамен, прием у должностного лица, беседа врача с пациентом и проч. Но и такие, казалось бы, несвязанные формы речевого общения, как, например, разговор в гостях, имеют свои наборы стандартных тем: злободневные политические и общественные дела, искусство, театр, события из жизни присутствующих, сплетни и т.п., издавна служившие предметом изображения в романах.

Время изменяет не только типовую тематику бытовых диалогов, — оно отменяет самые диалогические ситуации и создает новые. Многие формы изменялись и изменяются у нас на глазах. Рост жилищного строительства все больше будет вытеснять из нашего быта ситуацию разговора на коммунальной кухне. Между тем эта ситуация речевого общения имела свою сложную типологию, свои речевые стандарты — от хозяйственных ссор и препирательств до обсуждения насущных жизненных проблем. Уходит из быта классический русский разговор в железнодорожном вагоне; уходит не только потому, что воздушное или автомобильно-автобусное сообщение создало совсем другие формы дорожного общения, но и потому, что вагонный разговор заглушило радио. Предполагается, что пассажир не разговаривает, а слушает.

Возникли диалогические ситуации, которых не знала классика XIX века, — разговоры на пляже, в спортивной раздевалке, в домах отдыха.

Применительно к любой ситуации речевого общения — случайной или стереотипной — возникает вопрос о мотивах. Вопрос существенный для художественной прозы; в особенности для художественной прозы с установками социально-психологическими, тем самым с установкой на детерминированность всего совершающегося. Мотивы и цели речевого высказывания определены его социальным назначением. Классификация их явля-

ется условной, абстрагирующей, потому что в живом общении мы, конечно, имеем дело не с чистыми видами мотивации, но со скрещением всевозможных импульсов и целей.

Психологические мотивы особенно ясны в речи практически коммуникативной, содержащей целенаправленную информацию (иногда и дезинформацию), приказ или призыв. Это слово наглядно изменяет соотношения, в данный момент существующие в окружающем мире. Оно неотступно сопровождает процессы труда, управления, общения между людьми — делового, профессионального, личного. Практические цели высказывания не всегда, впрочем, выявлены прямо; они бывают скрыты под другими словесными масками.

Речевое общение может быть лишено практической направленности, целесообразного результата, а в то же время быть социально обязательным, предписанным нормами внешнего мира. Это слово в широком смысле этикетное — от ритуальных его форм, разработанных для всевозможных церемоний, до обязательных разговоров на встречах, приемах, наконец, просто в гостях. При самых случайных встречах или совместном пребывании людей разговоры в известном смысле могут быть этикетными. Их тогда порождает запрет молчания — молчать неловко, не принято, молчанием можно обидеть.

В ситуации разговора социально обязательного, притом лишённого практических задач, — подыскивать оригинальные темы трудно. Поэтому для такого рода диалогов и полилогов в таком ходу устоявшиеся шаблоны — разговор о погоде, о здоровье, о текущих новостях или общих знакомых.

Внешний мир требует от человека высказываний практически коммуникативных или этикетных. Наряду с этим исходящие извне воздействия побуждают человека к автоматической, рефлекторной речевой реакции. У нас до сих пор мало работ, посвященных психолингвистическому изучению диалога. Исследователи, касающиеся этих вопросов, до сих пор обращаются к статье Л.П. Якубинского "О диалогической речи", написанной еще в начале 1920-х годов.¹ Якубинский отмечает в ней важность

¹ Русская речь, сб. I, Пг. 1923, с. 134.

Отправляясь от статьи Якубинского, о реактивности диалогической речи пишет А.А. Леонтьев в работе "Функции и формы речи" (в кн.: Основы теории речевой деятельности. М., 1974, с. 251-252). Позднее проблемы диалога исследовались в работах:

и неразработанность вопроса "о целах речевого высказывания"; он рассматривает, однако, не столько сознательные его мотивы и цели, сколько психофизиологические и бытовые механизмы, порождающие диалогическое общение.

Л.П.Якубинский блестяще исследовал этот аспект диалогической речи: его необходимо учитывать, но ошибочно было бы сводить к рефлексорности все механизмы диалога. Формы диалога, которые рассматривает Якубинский — это простейшие его формы (именно потому очень существенные), над которыми надстраивается многое и многое — в процессе человеческого общения.

Речевые акции и реакции человека обусловлены извне, воздействиями и требованиями окружающей действительности. Наряду с этим устная речь человека обусловлена и неизбежной для него потребностью объективации в произнесенном слове всевозможных внутренних содержаний. Классифицируя формы поведения человека, исходя при этом из его потребностей, Д.Н.Узнадзе различал поведение экстрогенное, определяемое извне, предметом, на который оно направлено, и интрогенное, определяемое изнутри потребностью в активности, в применении энергии. Интрогенные формы поведения — это активизация внутренних сил (у детей — это игра), реализация моторных и психических функций человека, которая сама по себе является настоящей его потребностью.¹ Поведение, вызванное интрогенными побуждениями, реализуясь вовне, вступает в общую социальную связь.

Речевое поведение человека также имеет своего рода интрогенные формы. Речь может быть вызвана внутренней потребностью в активности, в применении энергии, в заполнении вакуума, которого не выносит человек. Она может оказаться

А.Холодович. О типологии речи. — В кн.: Историко-филологические исследования. М., 1967; Н.Д.Арутюнов. Некоторые типы диалогических реакций и "почему" = реплики в русском языке (НДВШ. Филологические науки, 1970, № 3); А.Балаян. Проблемы моделирования диалога. — В кн.: Материалы 3-го Всесоюзного симпозиума по психодингвистике. М., 1970. Американская работа I. Jaffee and S. Feldstein, *Rhythms of Dialogue* (New York, 1970) основывается на исследовании ритмических факторов диалога, отвлеченных от его содержания.

¹ Узнадзе Д.Н. Формы поведения человека. В кн.: Психологические исследования. М., 1966.

как бы самым доступным заменителем действия, иногда беспредметным. Для защиты от бездействия, скуки, пустоты годится иногда что угодно — случайные впечатления, любые воспоминания, ассоциации, всплывшие на поверхность фрагменты неиссякающего потока внутренней речи.

"Рефлекторная" диалогическая речь возникает не только из потребности репликой отзываться на реплику, но возникает и самопроизвольно из безостановочно работающей внутренней речи ("мысли вслух", которые иногда так удивляют неподготовленных к ним собеседников), из случайных впечатлений, попадающих в поле сознания — так внезапно обращают внимание собеседника на детали пейзажа или внешность случайного прохожего.

Человек непрерывно перерабатывает свою жизнь во внутреннюю и внешнюю речь; и внутренняя речь неудержимо стремится воплотиться вовне. И здесь имеет место, конечно, не только простейшая рефлекторная активизация речевой энергии. Человек стремится объективировать в слове самые важные, актуальные для него состояния своего сознания. С одной стороны это всевозможные эмоции и аффекты, которые в особенности нуждаются в непосредственном словесном воплощении. Эмоция выражается кратчайшим восклицанием, междометием, — но она же умеет находить для себя развернутые, сложные, иногда обходные формы. К искусной и неисконной маскировке прибегает человек, удовлетворяя потребность в разговоре о предметах своей любви, восхищения, ненависти, ревности, зависти.

Воплощения в слове, наряду со страстями, ищут и другие содержания сознания — интеллектуальные, эстетические. Устная речь — средство реализации интересов, способностей, возможностей, — всего ценностного мира личности. Научно-логические и художественные способности человека находят свое выражение в зафиксированных формах речи. Но и спонтанная устная речь содержит потенции научного и поэтического мышления; следовательно, могущественные творческие возможности.

Разговор, как и всякое поведение, детерминирован, но закономерности эти скрыты от разговаривающих. Им кажется, что они совершают акт почти независимый от сопротивления объективного мира, тяготеющего над каждым поступком. Любовь и тщеславие, надежда и злоба в разговоре находят реализацию, иногда призрачную. За чашкой чая или бокалом вина берутся

неприступные рубежи, достигаются цели, которые в мире поступков стоят долгих лет, неудач и усилий. Разговор – своего рода исполнение желаний.

Человек утверждает свои ценности, объективируя их в слове; тем самым он самоутверждается. Самоутверждение личности осуществляется в ее поведении, в том числе в ее речевом поведении. Произносимое слово в этом плане – одно из самых сильных средств. Речевые высказывания, порожденные самыми разными мотивами, возникшими на самых разных социальных и психических уровнях, – пронизаны напряжением борьбы, которую ведет человек за свое место в жизни, за свои интересы и свои идеалы.

Наряду с положительными формами защиты своих жизненных позиций возможны и негативные, обходные. Опрокинутой формой самоутверждения является, например, всяческое родство, самоуничижение, надрыв. Человек ищет выхода из своей ущербности, создавая эстетику и идеологию этой ущербности. Такова позиция, в частности, речевая позиция героя "Записок из подполья" и многих других персонажей Достоевского.

Самоутверждение может быть прямым, выраженным в хвастовстве – откровенном или закамуфлированном, – в осуждении ближнего (с подразумеванием – я лучше), в разговоре о себе, своих делах, переживаниях, здоровье, семье и прочем. Но неприкрытые формы самоутверждения в обществе, собственно, запрещены, и разговор о себе обычно предстает в более или менее центробежном виде, в разной степени удаленности от первоначального личного мотива. Искусство светского разговора, в частности, состоит в том, чтобы субъективно интересное подать слушателям в качестве объективно интересного.

Когда темы действительно глубоко уходят в объективно значимое, личность утверждает себя косвенно, опосредствованно через познавательные, через эстетические возможности разговора. Устное слово тем самым становится прототипом научной и художественной деятельности человека, проводником вечной его потребности в обнародовании своих мыслей, познаний, своего творчества. В произнесенном слове личность приобщается тогда к внеличным, общим, внеположным ценностям, через них утверждая свою собственную ценность; для нее в то же время радостен самый процесс применения своей духовной энергии.

Наконец мотивом высказывания может стать эстетическое переживание самой словесной формы. В той или иной мере оно присутствует и в самом обычном диалоге: образная речь, шутки, остроты и проч. Но диалог может превратиться в род специально эстетической деятельности. Такова, например, культура светского разговора. Разные эпохи, разная социальная среда порождали мастеров разговора — от деревенских краснобаев до салонных острословов.

Художественные потенции устной речи отчетливо раскрываются в рассказывании интересных историй. Помимо словесного оформления здесь существенно построение, разворачивание сюжета. Творческое удовлетворение сочетается у рассказывающего или ведущего искусный диалог с чувством своей власти над слушателями, над их вниманием, над их реакциями, эмоциональными, интеллектуальными. Вот почему человек часто с меньшей охотой выслушивает неизвестные ему интересные сведения, нежели сам сообщает даже то, что слушателям его уже хорошо известно.

Одним из способов самоутверждения личности является словесное само моделирование, и этой задаче также служит диалогическая речь. Человек разыгрывает в слове свои социальные и психологические роли. Его реплики ориентированы на построение определенного образа, что также является деятельностью в своем роде эстетической.

Даже беглый обзор напоминает нам о множестве жизненных функций устной речи: речь практически целенаправленная, речь рефлекторная и этикетная; речь, обнаруживающая эмоции и реализующая интеллектуальные, идеологические ценности. Речь, служащая самоутверждению и самосознанию личности. Речь, переживаемая в своей эстетической оформленности.

Перед нами чрезвычайное многообразие пересекающихся между собой мотивов речевого высказывания. Но обратимся к изображению прямой речи в художественной литературе, и мы сразу убедимся в том, что эти многообразные мотивы и импульсы большей частью не были сознательным предметом художественного постижения. Литература на разных исторических этапах пользовалась прямой речью как средством осуществления разных своих задач; и мотивы, приводящие в движение механизм разговора, она замечала своими мотивами — дидактическим, ха-

рактологическими, правоописательными, фабульными. Эта целенаправленность, структурная зависимость была требованием, господствующим правилом введения чужой речи в художественную прозу.

Эту зависимость расторг Толстой. Толстой первый подверг художественному исследованию самый феномен человеческого разговора. Толстой с его аналитическим проникновением в обусловленность всего сущего довел уточнение, детализацию, обусловленность вплоть до каждой отдельной реплики персонажа, даже до реплики "случайной".

По какой причине и с какой целью, почему и зачем человек говорит именно то, что он говорит? Есть высказывания, извне как будто ничем не определенные и не связанные, зависящие как будто только от прихоти говорящего. Человек, казалось бы, говорит то, что взбрело на ум. Но вот почему "взбрело" именно это, а не другое? Толстой был первым писателем, ответившим на этот вопрос¹.

Он изменил в корне изображение прямой речи - внешней и внутренней - положил начало новой ее трактовке в прозе конца XIX-начала XX века. Это вытекало закономерно из всей писательской позиции Толстого. В дотолстовском романе считалось высшим достижением, если решительно все, что сообщалось о герое, определяло его характер. Толстой, как никто другой, постиг отдельного человека, он величайший мастер характера, но он переступил через индивидуальный характер, чтобы увидеть и показать общую жизнь; не в том только смысле, что свойственное данному человеку свойственно и людям вообще, но и в том смысле, что предметом изображения стали процессы самой жизни, действительность как таковая. Это открытие Толстого потому, что до него европейский роман изображал только среду и личное или групповое сознание. Толстой изображает сражение, охоту, сборы Наташи на первый бал, работу Левина на покосе с мужиками - и всякий раз в герое Толстого проявляется не только его характер, но через него проявляются самые формы общей жизни, познается ее многослойный разрез.

Вот почему задолго до того как критика начала упрекать Чехова в необязательности, случайности изображаемого, она

Я имею в виду систему, а не отдельные открытия и прозрения, которые существовали и раньше.

уже предъявила подобный счет Толстому. Даже столь пронизательный ценитель Толстого как Константин Леонтьев, упрекая его в изображении "случайного физиологического факта", писал: "Но ведь все случайное и все излишнее, к делу главному не относящееся, — вековые правила эстетики велят отбрасывать"¹.

Толстовский переворот в понимании и изображении человека был и переворотом в изображении его слова². Новое отношение к слову персонажей коренится все в том же толстовском стремлении к познанию общей жизни, жизни как таковой, в ее сверхличных процессах и закономерностях. Разговор — один из процессов жизни. И речь как таковая, типы и цели речевых высказываний становятся для Толстого предметом изображения и полем художественных изучений (диалог у Толстого выполняет, разумеется, и канонические задачи — развертывает события, конфликты, характеры).

В своей статье "О диалогической речи" Л.П. Якубинский сетует на отсутствие "записей диалогов", почерпнутых из действительности. Для своего анализа он вынужден пользоваться литературным материалом; в подавляющем большинстве случаев это "Анна Каренина", и это отнюдь не случайно. Так велик у Толстого охват самых разных функций речевого общения, так настойчиво читательское ощущение толстовской достоверности. Предстают у Толстого эти формы речевого общения, конечно, не в чистом, абстрагированном виде, но в живом смещении, взаимодействии, переходах, в своей социально дифференцированной конкретности. Непосредственным предметом изображения стал для Толстого самый механизм диалога.

Говоря о толстовском изображении механизмов диалога, мы не навязываем ему свои представления. Толстой сам в подобных категориях мыслил движение разговора. Светский прием он очень подчеркнуто изображает как механизм (машина): фрейлина Шерер, принимающая гостей, сравнивается с хозяином прядильной мастерской, следящим за ее работой.

¹ К. Леонтьев. Собрание сочинений, т. 8. М., 1912, стр. 283.

² Величайшие — принципиально иные — открытия в плане изображения чужой речи принадлежат и Достоевскому. Они подробно рассматриваются М. М. Бахтиным в связи с его концепцией полифонического романа Достоевского. См. М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972, гл. 5.

"Так и Анна Павловна... одним словом или перемещением опять заводила равномерную, приличную разговорную машину".

Толстовская типология диалога охватывает всевозможные его формы, в том числе и такие, которые вводить в литературу вовсе не было принято. Толстой, например, изображает речевые шаблоны, предназначенные для заполнения пустоты, которая тревожит человека.

Николенька Иртенъев входит в комнату брата. Володя, лежа на диване, читает книгу. "Я подошел к столу и тоже взял книгу; но, прежде чем начал читать ее, мне пришло в голову, что как-то смешно, что мы, не видавшись целый день, ничего не говорим друг-другу. - Что, ты дома будешь нынче вечером? - Не знаю, а что? - Так, - сказал я и, замечая, что разговор не клеится, взял книгу и начал читать". Николеньке вовсе не нужно знать, будет ли его брат вечером дома. Толстому нужны были и эти бесцельные речи, потому что нужен был как можно более широкий охват словесных проявлений человека, как и всех его жизненных проявлений. Но он ими не злоупотреблял; они только мелькают иногда в его тексте, чтобы напомнить, что в жизни и так бывает.

Наряду с полуавтоматической стихией разговорной речи, с речью как почти беспредметной разрядкой энергии Толстой показывает и самые сложные, изощренные формы диалога. Он изобразил технику рассказывания интересных историй (например, рассказы виконта Мортемара в салоне Анны Павловны Шерер). Он демонстрирует речь дипломата Билибина, который в "Войне и мире" представлен в одном только своем качестве - человека, изготовляющего "оригинально-остроумные законченные фразы".

Билибин, виконт Мортемар и другие светские говоруны - это изображение формального переживания собственной речи. Широко представлена у Толстого реализация человека и в разговорах, имеющих для него интеллектуальное, познавательное значение, представлена многообразно - от шестнадцатилетнего Николеньки Иртенъева, наивно гордящегося тем, что он ведет с Нехлюдовым умные разговоры, до разговоров князя Андрея с Пьером, отмечающих вехи их духовного развития, до споров на философские, политические, хозяйственные, моральные темы, которыми пронизан текст "Анны Карениной". Толстой знает при этом, что потребность рассуждать, обобщать, приводить в

действие свои познавательные возможности отнюдь не является уделом одних лишь мыслителей, что эта потребность присуща любому человеку и облекается в разные формы в зависимости от жизненного его дела. Любопытен в этом отношении в "Анне Карениной" специфически женский разговор на террасе в имени Левиных. Его участницы — Кити, Долли, старая княгиня Щербацкая — непрерывно обобщают и рассуждают, но тема их обобщений — как варить варенье, что дарить прислуге и каким образом мужчины делают предложение своим будущим женам.

В поле внимания Толстого — психологические пружины, которые движут типовыми разговорами и в то же время сама разговорная ситуация, социальная фактура типового диалога. С этим мы встречаемся уже в "Юности"; например, в главе "Новые товарищи", где изображено общение героя со студентами-разночинцами. У Николеньки Иртеньева вызывает "коммюфотную ненависть" их быт "и в особенности их манера говорить, употреблять и интонировать некоторые слова. Например, они употребляли слова глупец вместо дурак, словно вместо точно, великолепно вместо прекрасно, движучи и т.п., что мне казалось книжно и отвратительно непорядочно".

В том социальном кругу, к которому принадлежит Николенька, речь строится по-разному. Один склад разговора существует в семье Нехлюдовых, другой — в семье Иртеньевых... "...Между людьми одного кружка или семейства устанавливается свой язык, свои обороты речи, даже — слова, определяющие те оттенки понятий, которые для других не существуют..." И Толстой описывает эти "обороты речи".

Вне контекста подобные экскурсы выглядят скорее всего как материал, собранный для научных выводов. На самом деле это отнюдь не научные наблюдения, но художественные образы прямой речи. У Иртеньевых, например, семейная семантика совсем другая, чем позднее у Ростовых. В ней нет ростовской теплоты, тонкой интуитивности. Она, напротив того, основана на недоверии и презрении ко всякой "чувственности". И в том и в другом случае — образ прямой речи, конкретный и символический.

Толстовская типология прямой речи порождена его пониманием социально-психологической обусловленности всего суще-

го, в то же время она восходит к моральным представлениям Толстого. Типология слова неотделима в этой системе от этики слова. Она подчиняется толстовскому разделению людей на искусственных и на одаренных чутьем, интуитивным пониманием подлинных ценностей жизни. Бездушную, искусственную речь Толстой преследует на самых различных ее уровнях. Это и профессорские разговоры в "Анне Карениной", и разговор за обедом у Сперанского, в кругу его приближенных, это и всегда разумные речи Веры Ростовой, которая говорит по поводу письма Николая с известием, что он был легко ранен, а теперь произведен в офицеры: "О чем же вы плачете, маман. По всему, что он пишет, надо радоваться, а не плакать".

Плоское, однозначное слово у Толстого может выражать не только ограниченность, но и низость души. Изображая объяснение Пьера Безухова с Элен, Толстой прощупывает самые формы ее речи, обнажает их отвратительное значение. "... Он вспомнил грубость, ясность ее мыслей и вульгарность выражений, свойственных ей, несмотря на ее воспитание в высшем аристократическом кругу. "Я не какая-нибудь дура... поди сам попробуй... **allez vous promenez**", - говаривала она... Зачем я себя связал с нею, зачем я ей сказал это: "**Je vous aime**", которое было ложь и еще хуже, чем ложь?" Пьера преследует не только язык Элен, с его бесстыдной ясностью, но мучит им самим употребленный языковый шаблон, несущий в себе ложь искусственного мира.

Внимание к отдельным фразам и словам, произносимым Элен, Верой Ростовой или московскими профессорами в "Анне Карениной", - это своего рода микрохарактерология, но это и познание этического качества слова, раскрывающегося в самой его лексике. Бездушному слову с его "грубой точностью" Толстой противопоставлял слово интуитивное, иррациональное, открывавшее в нем бесконечную смысловую перспективу. Такова, например, многозначная, ассоциативная домашняя семантика Ростовых; истинным ее виртуозом является Наташа. Изображение интуитивной разговорной речи открывало путь к изображению иррациональных внутренних монологов.

Внутренняя речь литературных героев существовала, разумеется, и до Толстого. И все же в читательском представлении внутренние монологи связаны с именем Толстого, как если

бы он придумал эту форму. В дотолстовской литературе внешняя речь переходила во внутреннюю незаметно, без качественных изменений. Именно Толстой функционально отделил внутреннюю речь от авторской речи и от разговорной речи персонажей.

В работе "О языке Толстого" В.В.Виноградов, показывая как у Толстого в диалогах семантика предметно-логическая вытесняется порой семантикой экспрессивно-символической¹ (разговоры молодых Ростовых, разговоры Наташи с матерью или Наташи с Пьером в "Эпиллоге" и т.д.), сближал по этому признаку домашние разговоры "Войны и мира" с толстовскими внутренними монологами. В.Виноградов различает два типа этих монологов: иррациональный, как бы воспроизводящий внутреннюю речь (в той мере, в какой эта неоформленная стихия может быть зафиксирована словом), и более условный, вполне логический, — рассматривая последний скорее как исключение, отклонение (хотя и существенное) от **толстовского** принципа передачи внутренней речи². Между тем у Толстого, в сущности, преобладает именно логический тип внутреннего монолога. Иррациональные же его формы обычно сопровождают у него изображение особых, смутных душевных состояний — будь то предсмертные бреды князя Андрея или в "Двух гусарах" разорванные мысли поручика Ильина, проигравшего казенные деньги.

Два типа внутренних монологов у Толстого отражают одно из основных и продуктивных противоречий его позиции. Страстному аналитику Толстому необходимо "рассудительство" — верное орудие анализа. Но мировоззрение его антирационалистично. Рассудочными, аналитическими средствами — вплоть до подчеркнуто логизированного, порой дидактического синтаксиса — Толстой разрушал рассудочные оболочки жизни, пробиваясь к тому, что он считал ее природной, естественной сущностью. Своеобразным этим сочетанием Толстой близонок к своему любимому мыслителю — Руссо.

¹ В.Виноградов. О языке Толстого (50-60-е годы). — В кн.: Литературное наследство, т. 35-36. М., 1939, с.196-201 и др.

² Там же, с. 179-189.

Изображение нерасчлененного и в то же время прерывистого потока сознания Толстой создал впервые. Логическую же внутреннюю речь он превратил в особое, невиданно сильное средство анализа, обладающее как бы непосредственной достоверностью, — человек анализирует сам себя, для большей ясности прибегая к расчлененным формулировкам.

Французский исследователь Окутюре в интересной статье, посвященной внутренней речи у Толстого, утверждает, что логическая внутренняя речь — в основном достойные героев идеологических: Левина, Нехлюдова и проч.¹ Это не совсем точно. Конечно, внутренние монологи князя Андрея, Пьера, Левина, Нехлюдова имеют особый вес и значение, но сопровождают они — притом часто в логической форме — и других основных героев, даже самых интуитивных. Так, проигрывающий Долохову Николай Ростов, несмотря на свое крайнее смятение, думает очень последовательно: "Я так был счастлив, так свободен, весел! И я не понимал тогда, как был счастлив! Когда же это кончи — лось и когда началось это новое, ужасное состояние? Чем ознаменовалась эта перемена? Я все также сидел на этом месте, у этого стола, и также выбирал и выдвигал карты, и смотрел на эти ширококостные ловкие руки. Когда же это совершилось, и что такое совершилось?"

Иначе думает тот же Николай Ростов, когда его во фланкерской цепи клонит непреодолимый сон: "Да, бишь, что я думал? — не забыть. Как с государем говорить буду? Нет, не то — это завтра. Да, да! На ташку, наступить... тупить нас — кого? Гусаров. А гусары и усы... По Тверской ехал этот гусар с усами, еще я подумал о нем, против самого Гурьева дома... Старик Гурьев..." Два эти внутренних монолога имеют разное назначение. Задача одного из них — аналитически расчленить переживания героя; задача другого — исследовать процесс внутренней речи в состоянии полусна, явление действительности, прикрепленное здесь к Николаю Ростову.

¹ См. Michel Aucouturier. *Langage intérieur et analyse psychologique chez Tolstoï*. — "Revue des études slaves", v. 34, Paris, 1957, p. 8.

Внутренний монолог Анны перед самоубийством стал прообразом потока сознания романистов XX века (об этом много писали). Но замечательно, что в этом монологе сталкиваются обе задачи, оба типа внутренней речи. Это знаменитое: "Туткин *coiffeur ... je me fais coiffer par Туткин...*" Чередование мыслей, бессвязных, но друг за друга цепляющихся, возникающих из перебоев случайных уличных впечатлений и неотвязного внутреннего присутствия переживаемой беды. И тут же, среди всего этого, настойчиво звучит знакомое толстовское рассудительство: "Ну, я получу развод, и буду женой Бронского. Что же, Кити перестанет так смотреть на меня, как она смотрела нынче? Нет. А Сережа перестанет спрашивать или думать о моих двух мужьях? А между мною и Бронским какое же я придумаю новое чувство? Возможно ли какое-нибудь не счастье уже, а только не мучение? нет и нет!" — ответила она себе теперь без малейшего колебания".

Эта расчлененная речь нужна потому, что все предстало Анне "в том пронзительном свете, который открывал ей теперь смысл жизни и людских отношений" (этот пронзительный свет знаком и Левину, переживающему нравственный кризис). А поток алогических, извилистых ассоциаций нужен тоже, — чтобы выразить грозно нарастающее, влекущее к смерти смятение души. Толстой, сочетавший алогический внутренний монолог с логическим, понимал условность того, что он делает. То, что он делал, было художественным познанием принципов внутренней речи, а не попыткой ее имитации, неосуществимой средствами внешнего слова, предназначенного для общения между людьми.

Заведомая условность присуща всем вообще опытам изображения потока сознания (в том числе и смелым опытам Джойса в "Улиссе"). Еще Л.Виготский утверждал, что внутренняя речь "не есть речь минус звук", но особая структура (ей присущи предикативность, эллиптичность, "слипание" слов и т.п.), которая при записи оказалась бы неузнаваемой и непонятной¹. Современная лингвистика, прослеживая движение мысли от "глубинных структур" до выражения во внешней речи,

¹ См. Л.С.Виготский. Мышление и речь (особенно гл.УП "Мысль и слово"). В кн.: Избранные психологические исследования. М., 1956, стр. 364-375.

устанавливает совершенно особое качество этих первичных "глубинных структур"¹. Это означает, что если перед литературой XX века даже и возникали задачи натуралистического воспроизведения внутренней речи, — то решить эти задачи практически было невозможно.

Творчество Толстого не только вместило множество типов речи, никем никогда с такой полнотой не охваченных, но явилось небывалым художественным познанием мотивов речевого поведения. В этом плане подлинным предметом художественного исследования была для Толстого, конечно, не "рефлекторная" или чисто ситуационная речь, но те глубоко запрятанные пружины, целенаправленность которых обнаружить может только анализ. И здесь толстовский анализ и толстовская этика слова работают друг на друга.

Замечательно, что интересом к проблеме разговора как такового отмечено уже первое литературное произведение Толстого, еще не вполне отделившееся от ткани ранних его дневников. В незаконченной и экспериментальной "Истории вчерашнего дня" (1851) хозяин дома, провожая гостя, говорит: "Когда ж мы опять увидимся?" Эта фраза "ничего не значит, но невольно из самолюбия гость переводит так: "когда" значит: пожалуйста, поскорее, "мы" значит: я и жена, которой тоже очень приятно тебя видеть; "опять" значит: мы нынче провели вечер вместе, но с тобой нельзя соскучиться; "увидимся" значит: еще раз нам сделай удовольствие. И гостю остается приятное впечатление". В этом раннем отрывке имеется и любопытное теоретическое рассуждение о природе разговора: "Люди старого века жалуются, что "нынче разговора вовсе нет". Не знаю, какие были люди в старом веке (мне кажется, что всегда были такие же), но разговору и быть никогда не может. Разговор, как занятие, — это самая глупая выдумка. Не от недостатка ума нет разговора, а от эгоизма. Всякий хочет говорить о себе или о том, что его занимает; ежели же один говорит, другой слушает, то это не разговор, а преподавание... Я не говорю о тех разговорах, которые говорятся оттого, что неприлично было бы не говорить, как неприлично было бы быть без галстука. Одна сто-

¹ См. об этом, например, С.Д.Кацнельсон. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972, стр. 121-127 и др.

рона думает: ведь вы знаете, что мне никакого дела нет до того, о чем я говорю, но нужно; а другая: говори, говори, бедняжка - я знаю, что необходимо. Это уже не разговор, а то же, что черный фрак, карточки, перчатки - дело приличия".

Разговор "о себе", разговор "о том, что ... занимает", разговоры "оттого, что неприлично было бы не говорить" - такова классификация, которую предлагает здесь Толстой. Для Толстого, неотступно следившего за всеми ходами самолюбия и эгоцентризма, разговор "о себе" или "о том, что ... занимает" и был основным полем выявления скрытых импульсов высказывания. У Толстого - как и в дотолстовском романе - речи персонажей характеризуют личность, среду, эпоху, ситуацию, но сверх того у Толстого слово человека - знак непрестанной драматической борьбы за самоутверждение; в широком его понимании, от удовлетворения эгоистических вожделений до личного приобщения к высшим и всеобщим ценностям. Подход Толстого к народной речи определялся его пониманием человека из народа как человека естественных побуждений, не разорванных между явной и скрытой целью. Но у Толстого человек, взращенный искусственной средой, в своем диалоге с ближним утверждает себя прямо и косвенно, обходными и любовными путями.

Толстой сочетал предельную обусловленность разговора, то-есть его эмпирическую зависимость от данной ситуации и несовпадение интенции высказывания с его выражением, внешней словесной оболочкой. У Толстого двойная мотивировка - внешняя и внутренняя, - породившая всю поэтику подводных течений диалога от Чехова до наших дней.

Экспериментальная юношеская "История вчерашнего дня" - это прообраз дальнейших толстовских поисков скрытых мотивов диалога. В то же время это прообраз самой структуры этого диалога. В "Истории вчерашнего дня" реплики действующих лиц сопровождаются настойчивым авторским комментарием. Показан даже механизм, с помощью которого гость переводит реплику хозяина на язык удовлетворенного самолюбия. В позднейшем творчестве Толстого аналитический чертеж оброс плотью изображения, но диалог по существу своему остался аналитическим. Для Толстого реплика - это еще сырой материал; только авторское сопровождение оформляет ее смысл, часто изменяет этот смысл, переключая реплику в другой, скрытый кон -

В высшей степени характерен, например, знаменитый интуитивный разговор между Наташей и Пьером в "Эпизоде" "Войны и мира". Что же получится, если сценически выделить реплики этого разговора, в экспериментальном порядке "отключив" анализ (для этого выделяю в цитате курсивом прямую речь или соответствующую ей косвенную).

"Наташа рассказывала Пьеру о житье-бытье брата, о том, как она страдала, а не жила без мужа, и о том, как она еще больше полюбила Мари, и о том, как Мари во всех отношениях лучше ее. Говоря это, Наташа признавалась искренно в том, что она видит превосходство Мари, но вместе с тем она, говоря это, требовала от Пьера, чтобы он все-таки предпочитал ее Мари и всем другим женщинам и теперь вновь, особенно после того, как он видел много женщин в Петербурге, повторил бы ей это. Пьер, отвечая на слова Наташи, рассказал ей, как невыносимо было для него в Петербурге бывать на вечерах и обедах с дамами. — И совсем разучился говорить с дамами, — сказал он, — просто скучно. Особенно я так был занят. Наташа пристально посмотрела на него и продолжала: — Мари — это такая прелесть! — сказала она. — Как она умеет понимать детей. Она как будто только душу их видит. Вчера, например, Митенька стал капризничать... — А как он похож на отца, — перебил Пьер. Наташа поняла, почему он сделал это замечание о сходстве Митеньки с Николаем: ему неприятно было воспоминание о его споре с шурином и хотелось знать об этом мнение Наташи. — У Николаевки есть эта слабость, что если что не принято всеми, он ни за что не согласится. А я понимаю, ты именно дорожишь тем, чтобы *ouvrir une carrière*, сказала она, повторяя слова, раз сказанные Пьером.

Диалог Толстого распадается без этой системы аналитических связей, устанавливающих, почему и зачем говорит человек то, что он говорит.

Толстовский диалог протекает при самом высоком напряжении психологического контроля, отдающего отчет читателю в каждом слове персонажа. Перед самоубийством Анна заезжает к Облонским и встречается с Кити. Вот их разговор в чистом "сценическом" виде:

" — Да, я очень рада, что увидела вас. Я слышала о вас столько со всех сторон, даже от вашего мужа. Он был у меня, и он мне очень понравился. Где он? — Он в деревню поехал. — Кланяйтесь ему от меня, непременно кланяйтесь. — Непременно!"

А вот тот же разговор в единстве реплик и авторского сопровождения:

"Кити чувствовала, что Анна враждебно смотрит на нее. Она объясняла эту враждебность неловким положением, в котором теперь чувствовала себя пред ней прежде покровительствовавшая ей Анна, и ей стало жалко ее... Анна... обратилась к Кити. — "Да, я очень рада, что увидела вас, — сказала она с

улыбкой. — Я слышала о вас стождко со всех сторон, даже от вашего мужа. Он был у меня, и он мне очень понравился, — очевидно с дурным намерением прибавила она. — Где он? — Он в деревню поехал, — красная, сказала Кити. — Кланяйтесь ему от меня, непременно кланяйтесь. — Непременно! — наивно повторила Кити, сободезнующе глядя ей в глаза¹.

Диалог Толстого антидраматургичен. В пьесе на слово ложатся все психологические и сюжетные нагрузки (авторские ремарки имеют подсобное значение), его нельзя поэтому освободить от объясняющего элемента. Даже Чехов не мог это сделать до конца. Значение диалога в романах Толстого чрезвычайно велико, но в чистых диалогических формах не мог бы реализоваться авторский голос Толстого, голос "наблюдателя и судьи", как определял его Б.М.Эйхенбаум¹.

Толстовский аналитический комментарий к прямой речи персонажей строится по-разному. Иногда он настойчиво сопровождает каждую реплику, иногда же читателю отчасти предоставляется самому восстанавливать логику мотивов. Проследим, например за разговором в гостях у Анны. В нем участвуют Анна, Облонский, пришедший с Облонским Левин и литератор Воркуев, который собирается издать написанную Анной книгу для детей. Левин рассматривает портрет Анны, сделанный в Италии художником Михайловым.

— Не правда ли, необыкновенно хорошо? — сказал Степан Аркадьевич, заметив, что Левин взглядывал на портрет.

— Я не видал лучше портрета.

— И необыкновенно похоже, не правда ли? — сказал Воркуев.

Левин поглядел с портрета на оригинал. Особенный блеск осветил лицо Анны в то время, как она почувствовала на себе его взгляд: Левин покраснел и, чтобы скрыть свое смущение, хотел спросить, давно ли она видела Дарью Александровну, но

Данный отрезок разговора начинается фразой, вызванной впечатлением извне — портретом, Левиным, рассматривающим портрет. В вопросе Облонского есть и скрытое торжество. Он хочет, чтобы Анна победила Левина (левинские семейные устои втайне раздражают грешного Степана Аркадьевича). Левин отвечает на вопрос Облонского.

Воркуев вмешивается в разговор с целью сказать приятное хозяйке дома.

Левин, смущенный впечатлением, которое произвела на него Анна, идет уведождать в сторону тему. Долги — в качестве такой темы — всплывает закономерно. И потому, что о ней напоминает присутствие ее мужа, и потому,

¹ Борис Эйхенбаум. Молодой Толстой. Пб.—Берлин, 1922, стр. 59, 121 и др.

в то же время Анна заговорила:

- Мы сейчас говорили с Иваном Петровичем о последних картинах Ващенко. Вы видели их?

- Да, я видел, - отвечал Левин.

- Но виновата, я вас перебила, вы хотели сказать...

Левин спросил, давно ли она видела Долли.

- Вчера она была у меня, она очень рассержена за Гришу на гимназию. Латинский учитель, кажется, несправедлив был к нему.

- Да, я видел картины. Они мне не очень понравились, - вернулся Левин к начатому ею разговору.

Семейному разговору о Долли и ее детях Левин предпочитает тему картин Ващенко, переходящую в рассуждения "о новом направлении искусства"; предпочитает потому, что ему хочется сейчас говорить "умные вещи", чтобы Анна их слушала. "Левин говорил теперь совсем уже не с тем ремесленным отношением к делу, с которым он разговаривал в это утро. Всякое слово в разговоре с нею получало особенное значение".

Здесь изображена одна из тех ситуаций, для которых разговор является обязательным, формальным требованием. Если темы его полностью и не предreshены, то все же выбор их ограничен жесткой типологией светского общения. Изображая прием у Бетси Тверской, Толстой прямо говорит об этом: "Около самовара и хозяйки разговор между тем... поколебавшись несколько времени между тремя неизбежными темами: последней общественной новостью, театром и осуждением ближнего... установился, попав на последнюю тему, то есть на злословие". Из типовых тем для светских собеседников особенно привлекательна сплетня, сочетающая прелесть самоутверждения (посредством осуждения и унижения других) с разными эмоциями, в том числе эротическими.

Общий разговор на званом обеде у Облонских (на этом обеде Левин и Кити объясняются в любви - структура сложная

что Долли в близких, родственных отношениях и с Анной, и с Левиным. Анна продолжает линию разговора, ассоциативно связанную с ее портретом.

Ответ на реплику.

Фраза, подсказанная требованиями вежливости.

Теперь, когда речь идет не о портрете Анны, но о картинах Ващенко, разговор о Долли Левину уже не нужен, но он вынужден к нему вернуться. Анна подхватывает тему, предложенную Левиным.

и универсальная, одновременно выполняющая разные задачи. Это опять типологическое исследование "разговорной машины", которую запускает Степан Аркадьевич, подсовывая своим гостям "неизбежные темы" дня. Точно прослежено движение "умных разговоров", с их ассоциативными переходами, от обрусения Польши к преимуществам классического или реального образования и отсюда к женскому вопросу. В то же время этот разговор несет в себе психологическую характеристику его участников, и он же отражает их душевное состояние в личных мотивах, то скрытых, то пробивающихся наружу. Так теоретический спор о правах женщин приводит в движение личные мотивы — Каренина, как раз собирающегося начать дело о разводе с Анной; Облонского, который, защищая эмансипацию, думает о своей любовнице Чибисовой; Дарьи Александровны, которая, осуждая эмансипацию, думает о том же; Кити, которая сочувствует женским правам и образованию, потому что испытывает "страх девства и унижения". Разговор за семейным обедом менее этикетен, чем разговор в светском салоне; темы его непреходящие. Именно потому особенно острый психологический интерес представляет обусловленность их возникновения, их чередования.

Изображая прямую речь своих героев, Толстой объед всевозможные ее формы — от автоматической реакции на случайное впечатление, на реплику собеседника, от подхватывания речевых шаблонов, ходовых тем, заполняющих пустоту, — до высказываний, в которых отражены ответственные жизненные решения личности.

Произведения Толстого полны удивительных художественных предсказаний (об этом уже много писали). В частности, творчество Толстого стоит у истоков явлений, характерных для изображения чужой речи в прозе XIX века. Это иррациональная и внутренняя речь, поток сознания, подводные течения диалога. Толстой в своей гигантской продуктивности не сосредоточивался ни на одном из этих открытий. Впоследствии каждое из них возвели в систему.

Толстой не стремился к имитации и не останавливался перед условностью. Изображая речь французов, он чередовал русский язык с французским; изображая поток сознания, он смешивал алогическую внутреннюю речь с логической и даже

книжной — в зависимости от того, какую он в данный момент решает психологическую задачу.

Толстой — величайший из реалистов; именно потому его творчество — особенно убедительное свидетельство всей сложности соотношений между спонтанной разговорной речью и ее литературными отражениями. В каких бы формах ни являлось нам слово литературных героев, оно никогда не тождественно житейскому разговору, потому что в единстве произведения оно выполняет определенные структурные задачи и художественный контекст сообщает ему обобщающее, символическое значение.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИНТАКСИСА
ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА М.ЦВЕТАЕВОЙ

О.Г.Ревзина

Синтаксис М.Цветаевой кажется чем-то уникальным уже в своем внешнем оформлении. Поражает обилие знаков препинания – тире, скобок, многоточий, восклицательных знаков и особенно двоеточий. Сама М.Цветаева отдавала себе отчет в этом качестве своих стихов. Обращаясь к кусту ("Куст", 1934), М.Цветаева пишет:

Чего не видал (на ветвях
Твоих – хоть бы лист одинаков!)
В моих преткновения пнях,
В сплошных препинания знаках?

"Сплошные знаки препинания", кроме того, стоят не в соответствии с правилами орфографии: разделяют, например, однородные члены с союзом и ("Все в груди слилось и – спелось"), отделяют подлежащее от глагольной формы ("Чтоб вновь, как некогда, Земля – казалась нам!; Сивилла ль – выстонала?"), прямое дополнение от глагола (Буду братъ – труднейшую ноту, Буду петь – последнюю жизнь!), определение от определяемого (Рабочих – лет, Горбатых – лет...). Более внимательный взгляд покажет, однако, что здесь имеет место не хаотичность, а вполне определенная установка. В самих нормах литературного языка заложена определенная свобода в использовании знаков препинания, в частности, в постановке тире как показателя актуального членения, для выделения истинного субъекта и истинного предиката. В поэзии М.Цветаевой эти потенциальные возможности получают широкое развитие. Знаки препинания несут в них огромную функциональную нагрузку, выступая в ряде случаев единственным показателем той синтаксической связи, которую требуется восстановить, как например, в следующих строках, где двоеточие диктует запрет на субъектно-предикатную связь и сигнализирует об ином отношении, когда понятие (или вещь или лицо) сначала называется, а потом из него как бы извлекается постепенно круг тех ассоциаций, которое оно с собой несет:

Сивилла: выжжена, сивилла: ствол.
Все птицы вымерли, но бог вошел.
Сивилла: выпита, сивилла: зев
Доли и гибели! - Древо меж дев.

Сивилла: вещая! Сивилла: свод!

Сивилла: выбывшая из живых.
(“Сивилла”, 1922).

Столь же отчетливое ощущение глубоких смещений по сравнению с обычными синтаксическими нормами – и одновременно оправданности этих смещений возникает при попытке разобрать – в синтаксической структуре отдельных стихотворных строф М.Цветаевой, в том, как строится последовательность предложений, как нанизываются друг на друга оборванные предложения, номинативные конструкции, вопросно-ответные реплики, конструкции с сегментацией и парцелляцией. Известно мнение о “диком”, “запутанном” синтаксисе М.Цветаевой, якобы мешающем читателю воспринять содержание ее стихов. Кажется, напротив, несомненным, что весь богатый арсенал поэтических средств, которым пользовалась М.Цветаева, непосредственно связан с поэтическим содержанием ее произведений – а в значительной степени и творится ими. Но до всякой эстетической оценки ее синтаксиса его следует проанализировать в чисто языковом плане.

Предваряя конкретный разбор отдельных синтаксических явлений, мы хотели бы заметить следующее: те трансформации в структуре простого предложения, которые наблюдаются у М.Цветаевой, представляют непосредственное развитие тех возможностей, которые заложены в самой синтаксической системе русского языка и представлены, хотя и на периферии, в нормативном синтаксисе. Еще больший интерес представляет тот факт, что направление этих трансформаций совпадает с теми преобразованиями нормативного синтаксиса, которые наблюдаются в современной русской разговорной речи¹. При этом

¹ В качестве антипода М.Цветаевой можно назвать И.А.Бунину, который, находясь долгие годы в сходных с М.Цветаевой условиях, т.е. в оторванности от широкой речевой среды русского языка, в своей поэзии развивал как раз иные черты, являющиеся, так сказать, принадлежностью суперлитературного языка; у И.А.Бунина невозможно встретить ни оборванных предложений, ни синтаксически отклоняющихся замещений позиций предложения, ни пропусков управляющих или управляемых слов; красота его синтаксиса лежит в другом – в завершенности синтаксических построений, в предельно четкой реализации

конкретные реализации одних и тех же синтаксических тенденций русского языка, представленные в поэтическом языке М. Цветаевой и разговорной речи, оказываются совершенно несхожими между собой, что естественно связать с разными специфическими функциями этих двух стилей.

х х х

Система норм и разрешений, присущих синтаксической системе русского языка, включает следующие компоненты:

1. Позиционная эквивалентность.

В русском языке, как и во многих других, отсутствует однозначное соотношение между принадлежностью слова к части речи и синтаксической позицией, которую оно может замещать. Однако между частями речи и синтаксическими позициями имеются определенные связи, состоящие в том, что полнозначным частям речи можно поставить в соответствие набор возможных для них синтаксических функций, например, глагол может выполнять только роль предиката, наречие — роль предиката, атрибута и обстоятельства и не может выполнять роль субъекта или объекта и т.д. Этот принцип является основным. Наряду с ним — хотя и в несравненно меньшем объеме — действует принцип позиционной эквивалентности, состоящий в том, что каждая из синтаксических позиций может быть замещена произвольно взятой словоформой, служебным словом, совокупностью словоформ, фразеологизмом или его частью (крайний случай — в закавыченном виде, ср. Надсели твои вечные "хи-хи"¹, у М. Цветаевой:

"Здесь" на "там"

Променявший, и "дай" на "дам"
("Крысолов", 1925).

Позиционные замещения у М. Цветаевой являются по существу продолжением тех форм, которые приняты в литературном языке, ср. позиционную субстантивацию и позиционное атрибутивное:

литературной нормы — и это тоже одна из возможностей, заданная синтаксическим строем русского языка.

¹ Стихи М. Цветаевой приводятся по изданию: Марина Цветаева. Избранные произведения. М.-Л., 1965. Примеры из русского языка даются из двух источников: Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970; Русская разговорная речь. М., 1973.

В завтра путь держу,
В край без праотцев. ("По нагориям...", 1922)
В наш-час страну! в сей-час страну!
В на-Марс страну! в без-нас страну!
("Стихи к сыну", 1932).

В отдельных случаях замещения распространяются на такие позиции, где в литературном языке требуется обязательное распространение нормы, в частности после предлога:

Всю лестницу божественную - от:
Дыхание мое - до: не дыши!
(Из цикла "Земные приметы",
1922).
Вы с "незыблемость", вы с "недвижимость",
На ступеньку которой - ниже нет.
("Поэма лестницы", 1926).

Для беглеца
Мне сад пошли:
Без ни-лица,
Без ни-души!
("Сад", 1934).

В рамках поэтического языка позиционная эквивалентность представляет безусловное усложнение синтаксиса, и М. Цветаева пользуется этим приемом очень осторожно, не допуская, в частности, нанизывания неправильно замеченных позиций и помещая фактически "неправильно" употребленную словоформу в такой контекст, где синтаксические связи определяются совершенно однозначно. То же явление - и в гораздо более радикальном виде - получило широкое развитие в русской разговорной речи, но здесь позиционная эквивалентность выступает с обратным знаком - не усложнения, а упрощения синтаксиса: поскольку имеется контакт говорящего - слушающего и во многих случаях соотносительность с конкретной ситуацией, отсутствие формального выражения синтаксических связей не повышает трудность восприятия сообщения. Сам характер позиционной эквивалентности в разговорной речи совершенно иной и связан в значительной степени с образованием окказиональных номинаций (типа Я иду чем писать, Пойдем где в каникулы катались, У двери лежала утром выписалась и т.п.), т.е. временных обозначений денотатов, которые или не имеют собственного названия или, по тем или иным причинам, должны получить новое обозначение в ситуации говорения¹. Тем больший интерес пред-

¹ Вне связи с позиционной эквивалентностью, отметим, что переназывание нередко используется М. Цветаевой как основной композиционный прием. Так, в стихотворении "Попытка ревности" (1924) идет противопоставление двух женщин - той, от лица которой ведется повествование, и другой, с которой связан

ставляет тот факт, что столь разнящиеся на поверхностном уровне синтаксические явления имеют в своей основе общие черты: определенный творческий импульс (независимо от его несоизмеримости в поэтической и разговорной речи) в сочетании с реализацией одной и той же возможности, заданной синтаксической системой русского языка.

2. Неполнота словосочетаний и неполнота предложений.

В литературном языке представлена системная неполнота трехчленных словосочетаний с сильным двойным глагольным управлением (отдать книгу ученику – отдать книгу), с сильным глагольным управлением и примыканием инфинитива (велеть ученику читать – Учитель велел летом читать). В условиях синтаксического контекста возможно употребление зависимого компонента словосочетания вне непосредственной связи со стержневым словом (в диалогических репликах: Куда он отправился? Домой, в сложном предложении: Принес сыну книжку, а дочке – куклу, в сравнительном обороте: Вырос словно изпод земли. Выпадение управляющего слова является в таких случаях нормой, а не отклонением. Представителем целого словосочетания может выступать предлог: Сюда съезжаются со всего Союза больные с путевками и без, ср. у М. Цветае – вой: И лоб – к столу Подстатный, и локоть под – Чтоб лоб свой держать, как свод ("Стол", 1933).

Явление неполноты словосочетаний открывает потенциальную возможность строения синтагмы с незамещенной валентностью – употребления управляющего слова без управляемого и управляемого – без управляющего. Эта возможность широко используется и в разговорной речи, и в поэтическом языке, причем конструкции с незамещенной – активной и пассивной валентностью далеко не исчерпываются случаями, заданными нормативным синтаксисом. Принцип незамещенной валентности, теперь прежний любимый героини. Те переназвания, которые употреблены по отношению к двум женщинам (героиня – плавающий остров, государыня, мрамор Каррары, Лидит, другая – пошла бессмертной пошлости, снедь, товар рыночный, труха гипсовая и т.д. являются основным средством для выражения мысли о предательстве по отношению к любви, совершенным возлюбленным героини, причем этот ряд переназваний мог бы свидетельствовать о самонадеянности героини, если бы последние строчки не удостоверили, что предательство было взаимным (Как живется, милый? Тяже ли, Так же ли, как мне с другим?). Словарное обозначение денотата может вообще отсутствовать, ср. стихотворение "Несгорающую соль..." (1922), где есть седины дня, седины дум и седины бед, но сами седины волос обозначены как "несгорающая соль дум моих" и "пепел Фениксов".

так же как и позиционная эквивалентность, составляет один из конструктивных принципов синтаксиса разговорной речи; он может использоваться и в поэтической речи, как это можно наблюдать и у М.Цветаевой.

Приведем несколько примеров незамещенной валентности у М.Цветаевой. Некоторые из них целиком следуют норме (пропущенное слово восстанавливается по контексту):

В глубокий час души,
В глубокий — ночи...
(“Час души”, 1923).

Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне безразлично — на каком
Непонимаемой быть встречным!
(“Тоска по родине! Давно...”
1934).

Многочисленный пропуск управляющего глагола находим в раннем стихотворении “С большою нежностью — потому...” (1915):

Я все раздумываю, кому
Достанется волчий мех,
Кому — разнеживающий плед
И тонкая трость с борзой,
Кому — серебряный мой браслет,
Осыпанный бирюзой...

Третье, последнее четверостишие представляет все те же зависимые члены от один раз употребленного глагола, при этом парцеллированные:

И все записки, и все цветы,
Которых хранить невмочь...
Последняя рифма моя — и ты,
Последняя моя ночь!

Синтаксическая цельность повышает внутреннюю конденсацию стиха, напряженность его восприятия, поддержанную в семантическом плане тем, что ценность “даров” все время увеличивается и последний, самый ценный “дар” находится в последней строчке стихотворения. Этот прием используется М.Цветаевой очень часто. В контексте может содержаться не то слово, которое пропущено, но близкое ему по значению:

Ипполитова вза-мен
Лепестковского — клюв Гарпий!
(“Федра”. Жалоба”, 1923).

В других случаях незамещенная позиция не связана с предыдущим упоминанием в тексте, может быть понято лишь общее значение того круга лексем, которые могли бы заполнить незамещенную синтаксическую позицию:

Руки в землю хотят — от плеч!
Зубы щепень хотят — в опилки!..
(“Жалоба”, 1923).

Сходное явление можно наблюдать в разговорной речи в отношении нулевого глагола-предиката, когда эта позиция может быть замещена целым рядом глаголов, имеющих какой-то общий семантический множитель и одновременно собственные добавочные значения, например: для фразы “Я ему рубль” может быть предложен ряд: одолжил, заплатил, выдал как зарплату, дал и т.д.¹

Наряду с неполнотой словосочетаний представлена системная неполнота предложений. Сюда относятся бесподлежащая реализация двусоставных предложений (Я читаю. — Читаю), ситуативно не обусловленный пропуск сказуемого (Я говорю о деле. — Я о деле. Земля отдается крестьянам. — Земля — крестьянам)², ср. также существование специальной структурной схемы предложения (подлежащее — имя в именительном падеже, сказуемое — наречие, компаратив, имя в форме косвенного падежа)³, например, Шишка — с кулак, Лодка на берегу и т.д., предполагающей отсутствие глагольного предиката. Явление нулевой предикации получило широкое распространение как в разговорной⁴, так и в поэтической речи. У М.Цветаевой пропуск предиката и шире — явление неполноты предложений выступает в суггестивном виде: с незамещенным предикатом соседствует незамещенный субъект, приглагольные члены, составляющие конструкцию, не относятся к сильному управлению и могут сигнализировать о целом круге глаголов, естественно, не уточняемых конситуацией. В результате возникают

¹ Сб. “Русская разговорная речь”. М., 1973, стр.297.

² Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970, стр. 558.

³ Там же, стр. 555.

⁴ См. сб. “Русская разговорная речь”. М., 1973, гл. IV. Здесь выделяются нулевые глаголы центра (системно обусловленные, полностью предсказуемые присутствующими в предложениях приглагольными членами: Он про нас, Я про вчерашний магазин и т.д., и нулевые глаголы периферии, в которых часть значения обусловлена системно, а часть значения определяется конситуацией: Я вам сегодня рубль, а остальные завтра (синтаксический контекст диктует глагол, в котором есть элемент “дать”, ситуация уточняет нулевой глагол как “вернуть”).

чрезвычайно динамичные, семантически емкие конструкции, не находящие прямого соответствия в структурных схемах предложений нормативного синтаксиса, но имеющие истоками принципиальную возможность неполноты структурной схемы и ее преобразования на основе соотношения темы и ремы, в которые вступают члены этих конструкций. Приведем несколько примеров разной степени сложности, демонстрирующих явление нулевой предикации у М.Цветаевой:

Это пеплы, пред коими
В прах - гранит.

Значит, бог в мой двери -
Раз дом сгорел!

("Седые волосы", 1922).

Мчащийся простолюдин
Локтем - в бок.

Тумана белокурого
Волна - воланом газовым.

("Поэма конца", 1924).

Нет! - се - Юдифь -
Голову Олоферна!

("Облака", 1923).

Тот навстречу - крылья,
Та навстречу - руки...

("На красном коне", 1921).

Так древние главы семьи
Последнего сына -
Последнейшего из семи -
в последние двери -
Простертым свечением рук.

("Деревья". "Не краской, не кистью!", 1922).

Наибольшая трансформация получается, когда не замещены обе позиции - субъекта и предиката, а на их месте оказываются управляемые глагольные члены, соотносящиеся как тема и рема:

Из недр и на ветвь - рысями!

Из недр и на ветр - свистами!

("Скифские", 1923).

Сквозь плиты -
Ввысь - в опочивальню - и власть!

("Офелия - в защиту королевы", 1923).

Здесь платят! Здесь Богом и Чертом,
Горбом и торбой!

("Поэма заставы", 1923).

Мыслью - вестью - страстью -
выстрелом -

Мимо дома бургомистрова,
("Крысолов", 1925).

Так, лестницею нисходящей
Речню - в колыбель зыбей.
(*"Орфей"*, 1921).

Безглагольность, внутренняя конденсация синтаксической структуры стихотворения является характернейшей чертой поэтического языка М.Цветаевой. С.Карлинский отмечает, что "синтаксическая оригинальность М.Цветаевой выразилась в ее восстании против хорошо построенных предложений с субъектом, глаголом, прямым и косвенным объектом и всеми обычными распространителями в согласии с грамматическими нормами 19 века"¹. В терминах традиционной грамматики вклад М.Цветаевой описывается как максимальная эксплуатация грамматического и синтаксического эллипсиса. С.Карлинский указывает далее, что глагольный эллипсис связан у М.Цветаевой особенно часто с глаголами речи и глаголами движения - таково же положение и в современной русской разговорной речи². Индивидуальной особенностью М.Цветаевой являются конструкции, где активно используются экспрессивные возможности двух падежей - дательного и творительного, частотность употребления которых в поэзии М.Цветаевой превышает, по С.Карлинскому, частоту их употребления в обычном литературном языке. По нашим наблюдениям, повышенной активностью обладает также винительный предложный, принимающий на себя динамизм отсутствующего предиката:

Недрами - в ночь, сквозь слепость
Век, слепотой бойниц.
(*"Сивилла"*, 1922).

Через дыхание - в час твой хриплый,
Через архангельского суда
Изгороди!
(*"Не чернокнижница! В белой книге..."*, 1923).

Сотней ос -
В ноздри, в нос.
(*"Крысолов"*, 1925).

Сама М.Цветаева отлично сознавала безглагольный характер своей поэзии и сближала по этому признаку поэтическую речь и такой признак разговорной речи, как опора на ситуацию. С. Карлинский приводит следующие строки из письма М.Цветаевой

¹ Marina Cvetaeva. Her life and Art. Berkeley and Los Angeles, 1966, p.126.

² Сб. "Русская разговорная речь", стр.299-305.

Штейгеру в 1936 году: "Это не просто так, что я не люблю глаголы (ужасная грубость!), но чтобы обходиться без них, нужен стих или собственное присутствие"¹.

Говоря о трансформации структурных схем предложения в поэзии М.Цветаевой, мы отмечали, что приглагольные члены, в частности, творительный и дательный падежи, за счет которых формируется субъектно-предикатная структура, осмысляются как тема и рема и могут быть таким образом поняты как неправильные замещения позиций субъекта и предиката. Укажем и на другую особенность поэтического языка М.Цветаевой: подчеркивание в ряде случаев, что актуальное членение предложения не совпадает с тем делением на тему и ремю, которое задается субъектно-предикатной структурой - в этих случаях мы и находим у М.Цветаевой дополнительные тире и двоеточия:

Око зрит - невидимейшую даль,
Сердце зрит - невидимейшую связь...
Ухо пьет - неслыханнейшую молвь...
("На заре..." , 1922).

Глаза, не ведающие век,
Исследующие: свет.

(Из цикла "Земные приметы",
1922).

Вижу; опрометь копий!
Слышу: рокот кровей!

("Деревья", "Беглецы?
Вестовые?" , 1922).

3. Построение высказываний, не соответствующих структурным схемам предложения.

В Академической грамматике, наряду со структурными схемами предложения, говорится о высказываниях, которые нельзя подвести под какие-либо структурные схемы. Сюда относятся, в частности, выражения утверждения и отрицания, различных эмоций и т.п., например Да. Нет. Неужели? Разве?, вторые реплики диалогических единств, именные форманты сложного предложения, например Он очень болен: сердце, падеж и инфинитив представления: Культурный человек. Каков он? Любить... Но кого же?² Отдельные словоформы и словосочетания могут функционировать в независимой позиции в номинативно-информационной функции (в частности, в заголов -

¹ Simon Karlinsky, op.cit., p.140.

² Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970, стр. 574-576.

как) в функции обращения¹. Следует отметить также явление парцелляции, т.е. "такое вычленение словоформы или словосочетания, при котором этот отчлененный и вынесенный в конец элемент приобретает интонационный контур и информационную нагрузку самостоятельного высказывания"².

Названные явления во многих отношениях разнородны. Так, выражения утверждения и отрицания образуют лексически замкнутую группу, они, так сказать, парадигматически заданы в системе, в то время как "падеж представления" и парцелляция, напротив, связаны со строением текста, им свойственна определенная экспрессия и т.д. В данном случае они объединяются только по одному признаку: способность – в разной степени – функционировать в независимой позиции и приобретать при определенных условиях некоторые структурные характеристики предложения. Конструкции такого рода развивают, следовательно, потенциально заданную в русском языке возможность для любой словоформы стать высказыванием, и соответственно, возможность строить высказывания, не только опираясь на структурные схемы предложений. Совершенно естественно, что такая возможность широко реализуется в разговорной речи, которая, во-первых, представляет большей частью диалог, а во-вторых, опирается на конситуацию, то есть удовлетворяет именно тем условиям, при которых самые разные конструкции могут стать сообщением. Обращаясь к поэзии М.Цветаевой, мы убеждаемся, что те же возможности могут широко использоваться и в поэтическом языке, причем следует подчеркнуть, что здесь не идет речь об имитации разговорной речи, например, в диалоге героев, это именно черта всего синтаксиса М.Цветаевой, соседствующая, в частности, с высокотожественной лексикой, не характерной для разговорной речи. М.Цветаева, как было показано, широко трансформирует двусоставные предложения, лишая их глагольного предиката и перестраивая в двучленные конструкции, в которых отчетливо выделяются тема и рема. В высшей степени характерно для нее нанизывание односоставных однословных

¹ Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970, стр.649-650.

² Там же, стр.621-622.

предложений (недаром говорят иногда о "телеграфном" стиле М.Цветаевой), как, например, в поэме "Крысолов":

Пыль.
Мель.
Моль.
Нуль.
· · · · ·
Смол.
Гул.
Вол.
Мул.

Одновременно с этим мы находим больше число конструкций, которые фигурируют в качестве высказывания и не соответствуют — ют структурным схемам двусоставных или односоставных предложений:

Не краской, не кистью!
Свет — царство его, ибо сад.
("Деревья", 1922).

В тину,
В пену — как в парчу!
("Пражский рыцарь", 1923).

Не флотом, не потом, не задом
В заплатках, не Шведом у ног,
И даже не Петро-дивом · · · · ·
Свои (Петро-делом своим!).
("Петр и Пушкин", 1931).

Потусторонним
Залом царей.
("Поэт и царь"),

Не стрела, не камень:
Я! живейшая из жен:
Жизнь. Обейми руками
В твой невыспавшийся сон.
("Здравствуй! Не стрела, не
камень....", 1922).

В старческий вереск,
В среброскользящую сушь,
· · · · ·
В вереск-потери, · · · · ·
В вереск-сухие ручки.
("Деревья", 1922).

В качестве самостоятельного сообщения может фигурировать депричастный оборот:

Каменной глыбой серой,
С веком порвав родство.
("Сивилла", 1922).

Чернецы верховые,
В чащах бога узрев?
("Деревья". "Беглецы?
Вестовые?" , 1922).

Водопадами занавеса, как пеной -
Хвоей - пламенем - прошумя.
("Занавес", 1923).

Эти примеры лишней раз показывают, как далеко могут расходиться разные стили языка в реализации одних и тех же тенденций: в разговорной речи категория деепричастия развита очень слабо¹, в поэзии М.Цветаевой употребление деепричастий и деепричастных оборотов явно повышено по сравнению с нормой литературного языка, и это, возможно, связано с другой, архаической струей в ее творчестве, заставляющей связывать ее имя, в частности, с Тредиаковским².

Для М.Цветаевой характерно безглагольное употребление деепричастий, то есть или в качестве самостоятельного высказывания (см. выше), или в соотнесении с неправильно размещенной позицией предиката, ср. следующие строки из цикла "Деревья":

Стан по поясницу
Выпростав из гробовых пелен -
Взлет седобородый:
Есмь!

где деепричастный оборот относится к группе "взлет седобородый". При таком употреблении в деепричастии отчетливее проступает след его древнего происхождения из причастия, то, что в момент своего зарождения оно воспринималось как несогласованное причастие, то есть как определение. В результате деепричастие выступает в семантически обогащенном виде: оно передает и динамизм совершенного действия и - благодаря близости к определительному причастному обороту - статичность восприятия этого действия, "застывший", действительный признак. Эффект безглагольного употребления деепричастий был, можно сказать, открыт М.Цветаевой, ср. еще пример из "Деревьев":

И в разверстой хламиде
Пролетая - кто видел? -
То Саул за Давидом:
Смуглой смертью своей!,

где деепричастный оборот передает стремительное одноразовое движение и одновременно "вечное", остановленное движение.

¹"Русская разговорная речь". М., 1973, стр.160-177.

² S.Karlinsky, op.cit., p.195.

ние (Саул, пролетающий за Давидом).

Несмотря на весь свой радикализм, М.Цветаева сравнительно редко прибегала к построению высказываний, которые бы не соответствовали никаким структурным схемам и при этом употреблялись бы в независимой позиции. Гораздо чаще таким конструкциям находится оправдание. Одно из них, опять-таки сближающее поэтическую речь М.Цветаевой с разговорной — это оборванные предложения, или вернее конструкции с многоточием в конце могут быть восприняты как оборванные, хотя вовсе не требуют какого-то дополнения. Многоточие в конце — это форма, позволяющая М.Цветаевой вовлекать в число самостоятельных коммуникативных единиц все ее излюбленные конструкции, в частности, винительный предложный, творительный, а также деепричастные обороты:

Ах, с топочущих стогн
В легкий жертвенный огонь
Рощ! В великий покой
Мхов! В струение хвой...
(Из цикла "Деревья").

Тайна занавеса! Сновиденным лесом
Сонных снадобий, трав, зерн...
("Занавес", 1923).

Здесь матери, дитя заспав...
(Мосты, пески, кресты застав!)
Здесь, младшую купцу пропив...
Отцы...

— Кусты, кресты крапив...
("Поэма заставы", 1923).

Другое "оправдание" подобного рода конструкций является текстовым: где-то в стихотворении, может быть, на большом расстоянии, находится предложение, по отношению к которому данная конструкция может быть понята как парцеллированная:

—Нельзя ли дальше,
Душа? Хотя бы в фонарный сток —
От этой фатальной фальши:
В . . . удаль, в . . . одурь, в гармошку, в надсад,
в тщету!
("Поезд", 1923).

Гикнуло — и понеслось
Опрометями колес.
Время! Я не успеваю.
Стрелками часов, морщин
Рытвинами — и Америк
Новшествами...
("Хвала времени", 1923).

Наряду с прерывной парцелляцией в поэзии М.Цветаевой можно найти много примеров парцелляции непрерывной:

Без слов и на слово -
Любить... Распластаннейшей
В мире - ласточкой!
(*"В пустынной храме...", 1922*).

По наважденьям своим - как по мосту!
С их невесомостью
В мире гирь.
(*"Что же мне делать, слепцу и
пасынку...", 1923*).

Скелет - раз нет
Лица: газетный лист!
Которым - весь Париж
С лба до пупа одет.
(*"Читатели газет", 1935*).

Для поэзии М.Цветаевой характерно нагнетение ненормированных конструкций - в ее поэзии происходит не только "деформация" классической структуры простого предложения, но и явное снижение частотности его употребления. Вопросно - ответные реплики диалога, неправильные замещения синтаксических позиций в предложениях, соответствующих структурным схемам, большое количество односоставных номинативных предложений, парцеллированные элементы, высказывания, не отвечающие каким-либо структурным схемам - все это требует повышенного внимания к синтаксической структуре цветаевского стиха, что, впрочем, полностью отвечает представлению М.Цветаевой о том, что чтение стихов требует полной самоотдачи: "внимательно читать - хорошо читать".

По использованию неканонических конструкций, по характеру трансформации структурных схем предложения поэтический язык М.Цветаевой сближается с разговорной речью, где также часты случаи неполноты словосочетаний и предложений, оборванных предложений, высказываний, не соответствующих структурным схемам предложения и т.д. Но при этом, конечно, не следует забывать о глубоких различиях, существующих между разговорной и поэтической речью и именно о том, что разговорная речь одноразова, спонтанна, в ней отсутствует установка на план выражения, в то время как поэтическая речь несет на себе черты единого замысла, она существует как текст, и синтаксическая структура стихотворения несет на себе эстетическую функцию, так же как и другие компоненты языковой структуры.

Если в разговорной речи последовательность разного рода ненормированных конструкций случайна, она диктуется ситуацией, коммуникативной установкой говорящего, вопросно-ответными репликами и т.д., то в поэтической речи те же конструкции объединяются в пределах стихотворения в одно поэтическое целое, причем способы построения этого целого могут быть весьма разнообразны. Вот, например, одно из стихотворений из цикла "Деревья" - "Та, что без видения сна, - Вздрогнула и встала". В нем синтаксическая цельность создается за счет возможности понять последовательно нанизываемые конструкции как неправильно замещенные позиции субъекта при одном и том же предикате, находящемся во втором двустихии стихотворения:

В строгой постепенности псалма,
Зрительною скалой -

Subj.I

Сонмы просыпающихся тел:

Subj.I' Subj.I',Subj.'''

Pred.

Руки! - Руки! - Руки!

Subj.II.

Свитки рассыпающихся в прах
Риз, сквозных, как сети.

Pred.

И далее выделяются Subj.III, Subj. IV и Subj. V. В части, касающейся изображения деревьев, стихотворение как бы само воспроизводит контур дерева со стволом-предикатом и постепенно вырастающими ветвями-субъектами, каждому из которых присуща собственная конфигурация ответвлений, выступающих субъектами второго и других порядков. В других случаях синтаксической скрепой стихотворения может служить дисконтактная парцелляция, дополненная рамочной конструкцией в начале и в конце стихотворения, в которой повторено управляющее слово. Так построено, например, стихотворение "Стихи сироте" (1936), где в первом и в последнем двустихиях имеется конструкция с одним и тем же глаголом - обнимаю:

Обнимаю тебя кругозором
Гор, гранитной короной скал.

Всё Савойей и всем Пьемонтом

И - немножко хребет надлома -

Обнимаю тебя горизонтом

Голубым - и руками двумя!

Центральная часть стихотворения "прошита" парцеллированными дополнениями к этому глаголу:

Феодального замка боками,
 меховыми руками плюща -
 Круговою порукой сиротства, -
 Одиночеством - круглым моим!
 . . . И рекой, разошедшейся на две -
 Чтоб остров создать - и обнять.

Парцелляция широко использована в стихотворениях из цикла "Куст" (1934), в первом стихотворении из цикла "Земные приметы" ("Так, в скудном труженичестве дней...", 1922), "Хвале богатым" (1922) и многих других. Рамочная конструкция с управляющим словом, представленная в стихотворении "Стихи сироте", также многократно использовалась М. Цветаевой, причем, если в "Стихах сироте" парцеллированные дополнения однозначно возводятся к началу рамки, в других случаях под - черкнуто притяжение зависимых членов в обе стороны - к началу и к концу конструкции:

Август - грозди
 Винограда, и рябины
 Жаркой - август!

("Август - астры...", 1917).

М. Цветаева вспоминает в этом стихотворении о "полновесном" "имперском" яблоке, которым играет август, и этот образ невольно переносится метафорически на синтаксически цельные, не однонаправленные циклические конструкции, которые столь характерны для поэтического языка М. Цветаевой. Тот же прием частично использован в стихотворении "Книгу вечности на людских устах..." ("Заводские", 1922), где конструкция первой строфы ("У последней, последней из всех застав, Где начало трав И начало правды...") повторяется в предпоследнем полустииши (У последней, последней из всех застав - Там, где каждый прав), а центральные строфы (начиная с "Голос шахт и подвалов, Лбов на чахлом стебле!") могут быть соотнесены и с началом, и с концом стихотворения.

Еще более сложный пример подобного рода демонстрирует стихотворение "Ручьи" (1923):

Прорицаниями рокоча,
 Нераскаянного скрипача
 Piccicata' ми... Разрывом бус!
 Паганиниевским "добьюсь!"
 Опрокинутыми...
 Хот, планет -
 Ливнем!
 - Вывезет!!!
 - Конец... На-нет...
 - 105 -

Недосказанностями тишизн
Заговаривающие жизнь:
Страдивариусами в ночи
Проливающиеся ручьи.

Срединные строки (Нот, планет - ливнем! и далее до недосказанностями тишизн) можно возвести и к первой строке (рокоча ... ливнем нот, планет) и к первому полустихию предпоследней строфы (заговаривающие жизнь... ливнем нот, планет). Возникает представление о непрерывном движении ручья, в котором смыкаются его конец и начало. Общая же стремительность ручьевого потока подчеркнута тем, что главное управляющее слово в стихотворении - ручьи, подчиняющее себе и деепричастный, и причастный обороты, является последним словом стихотворения. Скрепляющая роль последней строки усиливается, если в предыдущих конструкциях управляющее слово отсутствует вовсе. Так, в стихотворении "Купальщицами, в легкий круг" ("Деревья") последовательность, состоящая из деепричастных оборотов и групп предложных падежей, выступает вся целиком как эксликация, близкая к предикативной, последних двух строчек, метафорически называющих группу деревьев:

Купальщицами, в легкий круг
Сбитыми - стаей
Нимф-охранительниц - вдруг,
Гривы заметая,
.....
Длинную руку на бедро...
Вытянув выю...
Березовое серебро,
Ручьи живые!

К ФУНКЦИИ УСТНОЙ РЕЧИ В КУЛЬТУРНОМ БЫТУ ПУШКИНСКОЙ ЭПОХИ

Ю.М.Лотман

Изучение устной речи прошлого встречает ряд трудностей, среди которых первое место занимает проблема источников. Поскольку материалом изучения языка исторических эпох являются письменные документы, сама возможность анализа устной речи приходит в парадоксальное противоречие с природой доступных текстов. Конечно, многое может дать вычленение источников, по тем или иным причинам относительно близких к строю устной речи, а также анализ письменных документов под специфическим, реконструирующим углом зрения. Однако вопрос следует ставить с другого конца, начиная с определения той культурной функции, которую несла устная речь в системе языковых коммуникаций той или иной эпохи.

Для русской культуры начала XIX в. характерно, как и, в общем, для большинства культур эпохи письменности, отождествление графической закреплённости с авторитетностью. Все обладающие высокой общественной ценностью сообщения закрепляются в письменной форме. Даже там, где тексты получают общественную реализацию в устной форме (ответственные выступления государственного значения, например, речи Александра I перед варшавским Сеймом или церковные проповеди), они представляют собой устно произносимые письменные тексты, поскольку весь строй используемых в них языковых средств почерпнут именно из письменных структур, а наложение на языковые нормы риторических приводит к гиперструктурированию именно письменного начала. Да и реально эти речи сначала пишутся, а затем читаются или выучиваются наизусть.

Высокая престижность письменного языка объясняет его агрессию в область "устности". Человек романтической эпохи стремится вести "историческое" существование. Простая бытовая жизнь отступает на задний план перед бытием для

истории. Однако в те минуты, когда он приписывает себе достоинство исторической жизни, речь его переключается в письменный стиль и — более того — в стиль высокой, торжественной письменности. Так, декабрист склонен заменить бытовой разговор высоким вещанием.¹ На случайно Фамусов говорит о Чацком, что он "говорит, как пишет". Таким образом, в устном говорении могла проявляться ориентация на нормы письменной или устной речи, что зависело от того стиля поведения, который культивировался в данном социуме как норма. Торжественное, государственное, историческое поведение выдвигало на передний план ориентацию на письменную речь, которая активно проникала в устное говорение, становясь нормой и моделью всякого "правильного" языкового общения. В тех же коллективах, в которых господствовала ориентация на интимность отношений, тесную кружковую замкнутость, обособленность избранных и деритуализованность поведения, устная речь приобретала авторитетность, и письменная моделировалась по ее образцу.

Тяготение к устной речи явно проявлялось в коллективах, тяготевших к закрытости и эзотеризму, в противоположность публичности, официальности и прозелитизму, которые активизировали письменно-риторическую норму.

Культивирование анти-официальности, тесного дружеского кружкового общения было свойственно в пушкинскую эпоху определенным кругам офицерства, что в государственном отношении противостояло аракчеевщине, а в бытовом делило время на две половины: "царей науку" — ежедневную муштру строевых учений и парадов, с одной стороны, и веселое время кутежей "на распахку" в дружеском кругу, — с другой. Тон поведения в александровское время задавала гвардия, в которой господствовало два типа поведения. "В Кавалергардском, Преображенском и Семеновском полках господствовал тогда особый дух и тон. Офицеры этих полков принадлежали к высшему обществу и отличались изяществом манер, утонченным изысканностью и вежливостью в отношениях между собой ... Офицеры же дру-

¹ См. Ю.М.Лотман. Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория). — "Литературное наследие декабристов", Л., 1975.

гих полков показывались в обществе только по временам и, так сказать, налётами, предпочитая жизнь в товарищеской среде, жизнь на распашку. Конногвардейский полк держался нейтрально, соблюдая смешанные обычаи. Но зато лейб-гусары, лейб-казаки, измайловцы, лейб-егеря жили по-армейски и следовали духу беззаботного удальства ... Уланы всегда сходились по-братски с этими последними полками, но особенно дружили они с флотскими офицерами."²

Кружковая офицерская жизнь была отмечена не только поззией товарищества, удальства и бесшабашности, но и по пронизывавшему ее духу неофициальности, дружеского равенства и ненависти к формализму не лишена была известного налета либерализма. Царь и Аракчеев относились к ней с нескрываемой неприязнью и подозрительностью, но большинство прошедших боевую службу военачальников под рукой ей покровительствовало. Либеральный душок неофициальности проявлялся в характере неологизмов языка этих кружков. Так, Закревский в 1816 г., как сообщал в 1826 г. доносчик Николай I, в тесном кружке офицеров говаривал: "Скидайте глупости! - означало "шпаги"; были ли на дурачестве? - на учении".³ Цитата эта прямо вводит нас в лингвистический аспект проблемы.

Кружковое поведение влекло за собой возникновение кружковых диалектов. Вяземский не случайно говорил о "гвардейском языке"⁴ 1820-х гг. Характерной особенностью таких кружковых языков является использование речи в делимитативной ее функции: по языку отличают "своих" от "чужих", и сами языковые средства начинают распадаться на "наши" и "их". В устной речи это приводит к поискам эквивалентов кавычек, что может достигаться с помощью интонации (саркастической, отстраненно официальной и проч.).⁵ Отсюда - расцвет неологизмов, особенно в тех сферах, которые оказываются в данном

² В. Крестовский и И. История лейб-гвардии уланского его величества полка. СПб., 1878, с. 30.

³ Н. К. Шилдер. Император Николай Первый, его жизнь и царствование. Т. I, СПб., 1903, с. 326.

⁴ П. Вяземский. Старая записная книжка. Л., 1929, с. 110.

⁵ Так, например, наблюдение, сделанное в начале XX в. о языковом поведении старообрядцев, свидетельствовало, что иностранные слова ими систематически употреблялись на функции "чужой речи": "Не вошедших в совершенное и обыкновенное

кружке наиболее социально значимыми, и смещение значений: семантика общезыковых лексических единиц сдвигается так, что за пределами данного кружка становится непонятной. Кружковый язык имеет тенденцию превратиться в язык тайный. Отсюда обратная тенденция: человек, находящийся за пределами эзотерического коллектива, сталкиваясь с непонятным текстом, склонен подозревать опасность, сговор, у него развивается комплекс "недопущенности", заставляющий его видеть в существовании закрытого для него мира личную угрозу и оскорбление. Именно этот комплекс подсказал Петру I указ, по которому всякое писание в запертой изнутри комнате считалось государственным преступлением, а гоголевскому Поприщину продиктовало слова: "Хотелось бы мне рассмотреть поближе жизнь этих господ ... Хотелось бы заглянуть в гостиную, куда видишь только иногда отворенную дверь."⁶

В николаевскую эпоху этот страх перед непонятным языком, за которым почти всегда слышится завистливое желание проникнуть в круг избранных, породил многочисленные доносы. Так, отставной гусарский поручик кн. П. Максудов доносил властям в январе 1826 г., что подслушал на Невском проспекте "подозрительный разговор по-французски". Не будучи в состоянии задержать говорящих, он буквально записал их речи. Подозрительность заключалась именно в непонятности (ему), ибо лихой поручик признавался Николаю I, что "много забыл сей язык, а потому и писал российскими буквами оный".

употребление слов иностранных он (старообрядец.-Ю.Л.) чуждается и, если употребляет, то с какого-то рода пренебрежением и всегда с прибавкою слов: "как его что-ли" и пр. т. п. Например: "Взял я подряд в городе делать, как его, сквер, что ли так какой у них" (Действия нижегородской губернской Ученой архивной комиссии, Сб. IX. В память П. И. Мельникова. Нижний Новгород, 1910, с. 260). В "Войне и мире" Толстого, в речи Билибина знаком чужой речи - адекватом кавычек - будет переход на русский язык: "Сependant, mon cher ... malgré la haute estime que je professe pour le " православное русское воинство" . . . , j'avoue que votre victoire n'est pas des plus victorieuses. Он продолжал все так же на французском языке, произнося по-русски только те слова, которые он презрительно хотел подчеркнуть. . . . Voyez-vous, mon cher: ура! за царя, за Русь, за веру! Tout ca est bel et bon . . . On dit, le православное est terrible pour le pillage".

Л. Н. Толстой. Собр. соч. в 14 тт. т. IV, М., 1951, сс. 190-193).

⁶ Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч. Т. III, Изд. АН, 1938, с. 199.

Разговор был такой: "Дьябль ампорт сэт терибль мома; пур малириозь бошь жансь пуркуа не па атандрь жюска тель тан канть туть ле фамиль деве кондюир лекорь тю се. 2-й: Пуркуа она депеше, она саве ту са. 1-й Ме вуй. 2-й: Кессе а презан ресте. 1-й: Грас адио - пятетерь онь финира дань сеть тань, он не па анкор при ту."⁷ Связь между кружковым эзотеризмом языка и конспиративной тайнописью и тайноречью в последекабрьский период приводила к опасному смещению, и Жуковский, обеляя "Арзамас" от наветов, вынужден был объяснять властям: "Никто бы не поверил, что можно было собираться раз в неделю для того только, чтобы читать галиматью! Фразы, не имеющие для постороннего никакого смысла, показались бы тайны - ми, имеющими свой ключ, известный одним членам."⁸

"Гвардейский язык" - своеобразное явление устной речи начала XIX в. Общая функция его определяется местом, которое занимала гвардия в культурной жизни александровской эпохи. Это не "зверская толпа пьяных буян" (Фонвизин) века Екатерины и не игрушка Николая I. Гвардия первой четверти XIX в. - средоточие образованности, культуры и свободолюбия, многими нитями связанная с литературой, с одной стороны, и с движением декабристов, - с другой. Устная стихия речи бушевала в той части гвардии, в которой тон поведения задавался не Союзом Благоденствия, не людьми типа Чаадаева или Андрея Болконского, а "Зеленой лампой", Бурцевым, Каверным

⁷ Н.К.Ш и л ь д е р. Цит.соч., с.542.

⁸ В.А.Жуковский. Полн.собр.соч. в 12 тт. Т.Х, СПб., 1902,с.21; Курс.мой - Ю.Л. В какой мере в дни, когда восстание на Сенатской площади вызвало испуг средней дворянской массы и взрыв благонамеренного доносительства, "непонятное" отождествлялось с "крамольным", свидетельствует донос, который подал на самого себя чиновник А.Розанов. Некогда он служил в Изюмском полку, и в 1818 г. командир полка прислал ему железный перстень, вычеканенный в честь "достопамятного дня освящения знамен георгиевских". Рассматривая в 1826 г. свою руку, украшенную непонятным знаком, А.Розанов засомневался, не принадлежит ли он, сам того не зная, к обществу злоумышленников, и обратился к Николаю I: "Всеавгустейший монарх! Удостойте узреть милостиво на всеподданейшую жертву усердия и изреките высочайшую волю вашу в разрешении сомнений недоумевающего о самом себе" (Каторга и ссылка, 1925, кн.21, с.252-253).

и поэзией Дениса Давыдова. Пушкинский Сильвио рассказывал: "В наше время буйство было в моде: я был первым буйном по армии. Мы хвастались пьянством: я перепил славного Бурце-ва, воспетого Д.<енисом> Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминутно" (УШ, I, 69).

Это приводило к развитию арготизмов, обозначавших термины карточной игры и кутежа. Так, у уланов, по воспоминаниям Ф.Булгарина, кружок отчаянных картежников именовался "бессменный Совет царя Фараона."⁹ Командир лейб-уланского полка гр.Гудович ввел выражение "сушить хрусталь" (пьянствовать) и "попотеть на листе" (играть в карты).¹⁰ Л.Толстой в "Двух гусарах" привел гусарское выражение для штосса: "любишь-не любишь".¹¹

Происходит характерная агрессия карточной терминологии в другие семантические области:

На сером коне кто винтует?

Скажи мне Муза, что за фронт,

Собрав фельдфебелей толкует?

М <аслов> то славный адъютант.¹²

Знаменитый речетворчеством командир лейб-улан А.С.Чаликов (Чалидзе) называл своих офицеров "понтёрами" или "фонтьерами-понтёрами". Он же пустил поговорку "фонтьеры-понтёры, деридёром", применявшуюся как призыв к деятельности самого различного рода (для частных социальных диалектов характерна агрессивная полисемия отдельных слов и выражений).

Вяземский вспоминал о другом авторе гвардейских неологизмов: "Одним из них, <гвардейских полков.- Ю.Л.> кажется, коногвардейским, начальствовал Раевский (не из фамилии, известной по 1812 году). Он был ... в некотором отношении лингвист, по крайней мере обогатил гвардейский язык многими новыми словами и выражениями, которые долго были в

⁹ Ф.В.Булгарин. Воспоминания. Отрывки из виденного, слышанного и испытанного в жизни. Т.П., Пб., 1846, с.280.

¹⁰ В.Крестовский. Цит.соч., с.28.

¹¹ Л.Н.Толстой. Собр.соч. в 14 тт. Т.П., М., 1951, с.268.

¹² С.Н.Марин. Полн.собр.соч. Летописи. Кн.Х, М., 1948, с.70.

ходу и в общем употреблении, например: пропустить за галстук, немного подшефе (*chauffé*), фрамбуаз (*framboise* - малиновый) и пр. Все это по словотолкованию его значило, что человек лишнее выпил, подгулял. Ему же, кажется, принадлежит выражение: в тонком, т.е. в плохих обстоятельствах. Слово хрип тоже его производства; оно означало какое-то хвастовство, соединенное с высокомерием и выражаемое насильственной хрипкостью голоса.¹³

В связи с приведенной цитатой можно сделать некоторые наблюдения над механизмом образования неологизмов этого типа. Прежде всего, обращает на себя внимание фонетическая замена в выражении "под-шефе" "о" на "е". Это свидетельствует о том, что французское слово произносилось не по правилам французской фонетики, не знающей редукции, а в соответствии с нормами русского произношения: "е" означает здесь сильно редуцированный звук - фактически произносилось "под-шьфэ".¹⁴ Это соединение французского слова и руссифицирующего произношения не случайно и уж во всяком случае не может быть отнесено за счет плохого владения нормами французского произношения. Напротив, именно в результате прекрасного владения ими, нарушения в этой области могли производить тот комический эффект, который сопоставим с макаронизмом билибинской речи в "Воине и мире". "Гвардейский язык" обнаруживает принципиальный макаронизм, который, однако, имеет несколько иную природу, чем, например, в поэзии Долгорукова или Мятлева: это макаронизм на фонологическом, как в данном, или морфологическом уровнях. "Под-шефе" соединяет русский предлог "под" и французское "*chauffé*" по модели "под мухой". По аналогичной модели построено приписываемое

¹³ П.В.Яземский. Старая записная книжка. Л., 1929, с.110. Производное от "хрип" - "хрипун" для обозначения военного щеголя, затянутого в корсет, встречается в "Горе от ума" (с синонимами: "удавленник" и "фагот") и в "Домике в Коломне":

У нас война. Красавцы молодые!

[было: "Гвардейцы затяжные!", т.е. "затянутые в корсеты"]

Вы, хрипуны (но хрип ваш приумолк),

Сломали ль вы походы боевые?... (У, 374).

"Хрипуны", "хрип", "сломать походы" - демонстративные военные жаргонизмы. Прибегнув к метафоре "литературная полемика - война", Пушкин насытил строфу лексикой "армейского языка".

¹⁴ См.: В.М.Мокиенко. "Шефе (подшефе)". - "Русская речь" 1978, № 4, сс. 147-149.

Д.Давыдову (см.: "Решительный вечер гусара": "А завтра - чорт возьми! как зюзя натянуся") "натянуться как зюзя". Этимология этого выражения неясна. Фасмер считает, что это, "вероятно, звукоподражание",¹⁵ и связывает с диалектными словами типа "зюзяка" - шепелявый человек. Однако, если здесь и имеет место диалектная основа, то она, очевидно, включена в игру омонимами в связи с французским "en sus" - сверх меры: "натянуться en sus" (ср. боевой клич: "sus à l'ennemi - на врага!").

По тому же типу строятся выражения, которые Гоголь считал "настоящими армейскими" и в своем роде не без достоинства¹⁶: "Руте, решительно руте! просто карта фоска".¹⁷ Чтобы оценить смысл этих слов, надо помнить, что они вложены в уста Утешительного, того героя "Игроков", который разигрывает гусара и цитирует Д.Давыдова. Слово "фоска" - "настоящее армейское" потому, что соединяет французское *fausse* и русский суффикс, вносящий фамильярность. По той же слово-образовательной модели построен другой неологизм, тоже "настоящий армейский", в "Мертвых душах": "Штабс-ротмистр Поцолуев ... Бордо называет просто бурдашкой".¹⁸

Макоронизм на фразеологическом уровне - записанное Гоголем "выражение квартального: Люблю деспотировать с народом совсем дезабиле".¹⁹

Образцы выражений, почерпнутые из сочинений Гоголя, дают нам примеры лексики и фразеологии "гвардейского языка", но одновременно демонстрируют решительное изменение прагматики: язык культурной элиты, построенный на каламбурной речевой игре и пронизанный самоиронией, переходя к николаевской армейщине, теряет элитарность и вливается в общеязыковый пласт фамильярной стилистики. Это отделяет "гвардейский язык" и от его наследника - армейского жаргона николаевских лет, и от его предшественника - языка "гвардии сержантов"

¹⁵ М. Ф а с м е р. Этимологический словарь русского языка. Т.П,М., 1967, с.110.

¹⁶ Н.В.Г о г о л ь. Полн.собр.соч. Т.ХП, 1952, с.119.

¹⁷ Т а м ж е, Т.У, 1949, с. 89.

¹⁸ Т а м ж е. Т.УІ, 1951, с. 65.

¹⁹ Т а м ж е. Т.ХІ, 1952, с.542.

екатерининской поры. Образец речи последних находим в комедии Копиева "Обращенный мизантроп, или Лебедянская яромка", где гвардии сержант Затеikin выражается так: "...Она жа, так сказать, и прекрасна, ды по нашему, по-питерски эмабль! то уж эмабль ... Ма пренсес, суετε ву *des apelsins* ?"²⁰

Речь копиевских "гвардии сержантов" - еще разновидность щегольского языка ХУШ в. (характерная деталь: "*des apelsins*", - видимо, заимствование из языка немецких щеголей-галломанов: немецкая основа + французское окончание; по-французски апельсины: *des oranges* . Влияние немецкого *Modensprache* исключительно характерно для русских модников-галломанов ХУШ в.). Языковое смешение здесь - результат низкой культурности. Между тем, в "гвардейском языке" начала XIX в. мы сталкиваемся с сознательным языковым творчеством, языковой игрой, ориентированной на пародирование смеси "французского с нижегородским". Соединение несоединимых стилей, утонченности с простонародностью является здесь источником той индивидуальной выразительности и нестандартности языка, которая так ценится в эпоху романтизма. Гвардейские речетворцы: Кульнев, Чаликов, Марин, упомянутый Вяземским Раевский, Д. Давыдов - люди высокой культуры и ярких индивидуальностей. Выразительность и яркость языка Толстого-американца выделяла его в эпоху, которая не могла похвалиться на бедность литературными талантами.

Однако спонтанно развивавшийся мир гвардейских и - шире - армейских диалектов, оказывая значительное воздействие как на устную речь современного им общества, так и на общественный статус устной речи как таковой, ее активность, в воздействии на языковые процессы за ее пределами имел существенные ограничения. Установка на устность, неоформленность требовала компенсаций, которые придали бы данному языковому образованию устойчивость. Такую компенсацию давала устойчивость в организации коллектива, позволявшая создать традицию. Этим механизмом устойчивости могла быть преемствен -

²⁰ Цит. по: Русская комедия и комическая опера ХУШ в., М.-Л. 1950, с. 516.

ность полковой традиции. Этой же роли могли служить дружеские кружки и объединения, создававшие ритуализованные формы общения, что придавало устойчивость коллективной памяти и позволяло создать языковую традицию.

Конец XVIII – начало XIX вв. – время возникновения дружеских кружков, пародийных ритуалов и внутрикружковых языковых экспериментов. Можно сослаться на столь отдаленные по многим общественным параметрам кружки, как, с одной стороны, возникший еще в XVIII в. в Воронеже кружок Е.Болховитинова²¹, а, с другой, кружок Милонова – Политковских в 1810-х гг. Наиболее ярким явлением в этом ряду должен быть назван "Арзамас".

Язык "Арзамаса" не изучен.²²

"Арзамасские протоколы" – источник большой ценности. Однако было бы большой ошибкой сводить к ним и, даже шире, к пародийному ритуалу и связанному с ним осмеянию "Беседы" сущность деятельности "Арзамаса". В повести Пушкина "Рославлев" Полина и ее подруга обсуждают московский обед, на котором "внимание гостей разделено было между осетром и

²¹ Е. Ш м у р л о. Митрополит Евгений, СПб., 1888, с. 179–180.

²² Единственная прямо посвященная этому вопросу работа В.С. Краснокутского "О своеобразии арзамасского "наречия" ("Замысел, труд, воплощение", М., 1977) лишь заглавием относится к теме: автор не понимает различия между тематикой арзамасского разговора и языковой природой принятого в обществе "наречия", посвящая свои усилия лишь первому вопросу. Но и те вопросы, которые попадают в поле зрения В.С. Краснокутского, решаются им без должной осторожности. Так, например, на основании опорного сближения нескольких слов он усматривает в истории забеременевшей полуумной пастушки из "Истории села Горькина" "намек на поэтессу Бунину" (ук. соч., с. 21), не ставя вопроса о том, была ли для Пушкина в 1830 г. актуальна литературная борьба с "Беседой" и как выглядели бы этически двусмысленные намеки в адрес недавно скончавшейся от тяжелой болезни, всеми забытой и нищей, мало талантливой, но безобидной поэтессы. Литературная бессмысленность и житейская бестактность намерений, которые он приписывает Пушкину, не останавливают автора статьи. Не обременяет он себя доказательствами, и сближая ("по Бахтину") арзамасский ритуал с средневековой ярмарочной культурой и мениппеей.

Madame de Staël". "Ах, милая, — отвечала Полина, — я в отчаянии! Как ничтожно должно было показаться наше большое общество этой необыкновенной женщине! Она привыкла быть окружена людьми, которые ее понимают, для которых блестящее замечание, сильное движение сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны; она привыкла к увлекательному разговору высшей образованности. А здесь ... Боже мой!" (УШ, I, 151). Карамзинисты придавали исключительно большое значение "разговору высшей образованности" в общей системе культуры. Именно на него они собирались ориентировать язык литературы. Однако именно этого — культуры салонной устной речи, светского красноречия, утонченного метафизического диалога — в России не было. "Арзамас" призван был стать устной академией вкуса, где в непринужденной беседе рождалась бы традиция культурно-значимого разговора, а звучащая речь возводилась бы в ранг искусства. Пародии и шутки должны были бы создать атмосферу непринужденности, галиматья придавала оттенок эзотеризма, отгороженности от непосвященных, таинства, в котором нуждался этот кружок, чтобы чувствовать себя избранной элитой служителей изящного, но главный смысл заключался в утонченной и просвещенной беседе. Устная речь делалась моделью культуры как таковой. Но это была не та устная речь, которую можно было бы услышать в реальном русском обществе, — это были идеальная речь в идеальном обществе, которые предстояло еще создать в лаборатории "Арзамаса".

Для такого создания нужны были образцы. У "Арзамаса" они были. Речь, конечно, идет не о сознательно грубой смеховой культуре средневековья и Ренессанса (вспомним, как болезненно реагировал "Арзамас" на балаганно-раешные стихи В.Л.Пушкина, а этот последний в ответ жаловался, что "строг, несправедлив ученый Арзамас"; разр. моя, — Ю.Л.).²³ Образцы для "Арзамаса" следует искать ближе.

Французская культура эпохи рококо и Просвещения вырабатала развитую традицию салонного, кружкового общения. Осо-

²³В.С. Краснокутский ссылается на слова Вяземского: "В старой Италии было множество подобных академий, шуточных по названию и некоторым обрядам своим" укр.соч., с.37. Однако очевидно, что речь идет о традиции ученого гуманизма, а не о ярмарочных средневековых фарсах, как это полагает автор.

буи группу составляли многочисленные шуточные, пародийные, тайные и полутайные, закрытые и полузакрытые общества.²⁴ В ряде из них культивировались галиматья и условные тайные языки. Так, например, "язык для посвященных" культивировался в известном шуточном обществе "Galotte" ("Оплеуха"), существовавшем почти весь XVIII в.²⁵ Можно было бы упомянуть в этой связи "Орден мухи в меду", "Кружок прихожан" и др. Однако в первую очередь должен быть назван "Орден рыцарей Лантюрелю" (от "lanturelu" - "как бы не так!"). Во главе ордена стояла хозяйка знаменитого в Париже салона г-жа Ферте-Эмбо, носившая титул "ее экстравагантнейшего величества лантюрелийского, магистра Ордена и самовластной повелительницы всяческих глупостей". Среди членов Ордена, которые делились на рыцарей Лантюрелю и простых лампонов, числились кардинал Берни, многие писатели, церковные ораторы, ученые дамы (в частности, г-жа де Сталь). Из русских рыцарями Ордена были А. Строганов, Бярятинский, посещал Орден в Париже и кн. Свєрный (т. е. вел. кн. Павел Петрович) с женой Марией Федоровной. В Ордене велись шуточные протоколы, разыгрывались пародийные ритуалы. Однако шутки имели серьезный смысл: культивируя прециозную культуру изящной беседы, Орден был в оппозиции к просветительскому салону матери "самовластной повелительницы всяческих глупостей", г-жи Жоффрэн. Орден преследовал царивших в салоне Жоффрэн Даламбера и Гримма насмешками. Салон Жоффрэн был серьезным и отмеченным печатью педантизма. Показательно, что Екатерина II была в переписке с г-жой Жоффрэн, а Павел Петрович в Париже, посещая расположенный в том же доме салон ее дочери и оставив в книге посетителей запись, в которой признавал себя подданным царства Лантюрелю, которое, как он утверждал тут же, и есть царство Разума, в салоне г-жи Жоффрэн не появился.

В 1789 г. королева Лантюрелю отреклась от престола, и Орден прекратил существование. Аббат Н^Х сказал Карамзину в

²⁴ Arthur D i n a u x. Les Sociétés Badines, Bachiques, chanteuses et litteraires. Leur histoire et leurs travaux. T. 1-2, Paris, 1867.

²⁵ Pierre de S é g u r. Le royaume de la rue Saint-Honoré. Madame Geoffrin et sa fille. Paris, 1897, pp. 180-181.

Париже в 1790 г.: "Вы опоздали приехать в Париж; счастливые времена исчезли; приятные ужины кончились; хорошее общество (la bonne compagnie) рассеялось по всем концам земли. Маркиза Д^ж уехала в Лондон, графиня А^ж - в Швейцарию, а баронесса Ф^ж - в Рим."²⁶ Под баронессой Ф^ж Карамзин подразумевает "королеву Лантурелли".

Арзамас хотел бы возродить в России "век салонов", а культуру, освободив от педантизма высокой письменной речи, перестроить на основе непосредственного живого общения. Это был не только путь от письменного текста к устному, но и переход от одноплановости типографской страницы к многоплановости непосредственного общения, где жест, интонация, поза, многомерная сцена салона непосредственно влетают в объемный текст беседы, которая с периферии культуры парематалась в ее центр. Карамзинский лозунг: "писать как говорят" истолковывался как требование поместить в центр культуры устное общение, которое должно сделаться и идеалом, и нормой общения вообще и задавать письменному тексту не только лексику, но и самый стиль контакта.

Однако возможно было и другое истолкование доминирующей функции устной речи в культуре. Оно представлено "Зеленой лампой".

По многим показателям "Зеленая лампа" близка к "Арзамасу": та же установка на неофициальность и дружескую непосредственность общения, то же отрицание "мундирного быта аракчеевского Петербурга. Однако "Зеленой лампе" была чужда ориентированность на салонную культуру: двойное воздействие гражданского проповедничества Союза Благоденствия и вольности дружеских кружков "рыцарей лихих Любви, Свободы и Вина" делало ее в принципе чуждой салонной устремленности карамзинистов. Здесь "устность" воспринималась буквально - как непечатность. Это и был тот "очарованный язык" "друзей-поэтов", о котором вспоминал Пушкин, - язык, непо-

²⁶Н.М.Карамзин. Избр.соч.в двух томах. Т.1.М.-Л., 1964, с.379. Карамзин ошибся: г-жа Ферте-Эмбо (которая не была баронессой) не уехала в Рим, куда ее настойчиво звал эмигрировавший из Парижа кардинал Берни, а скончалась во Франции во время революции, но в Париже в 1790 г. действительно ходили слухи об ее отъезде.

средственно связанный со "стилем донцов", о котором позже говорил Лермонтов.

Для оценки этого языкового феномена нельзя забывать, что он входил в сложное целое тайного языка лампистов и подготавливал в лингвистическом отношении "славные обиняки" Каменки — конспиративный язык жных декабристов. Памятником этой спаянности тайного языка фривольных намеков и тайного языка политической конспирации остается одно из лучших политических стихотворений Пушкина — "В.Л.Давыдову" ("Меж тем как генерал Орлов..."). Вся поэтика текста ориентирована на то, чтобы сделать его понятным тому, кому следует, и непонятным тем, кто его не должен понимать. На самом деле это, конечно, игра в умолчания, которая не скрывает, а подчеркивает смысл. Но, если за строкой: "И за здоровье тех и той ..." — скрыто политическое иносказание, то стихи о женьище Орлова таят двусмысленности совсем иного рода. Текст должен скрыть (а на самом деле напомнить!) целый мир шуток, рас — сказов и острот, возможных лишь в устном исполнении, и намекнуть на политические лозунги, которые не следует доверять бумаге.

Русская культура никогда не была культурой полностью письменной (практически это и невозможно — речь идет об идеальной ориентации). Письменный и устный тексты — два противоборствующих реальные ее полюса. Историк, как правило, имеет в руках лишь первый. Реконструкция и изучение второго — насущная задача.

НЕЙРОСЕМИОТИКА УСТНОЙ РЕЧИ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ МОЗГА

Вяч. Вс. Иванов

Посвящается памяти проф. А.Р.Лурия

Основным выводом большой серии экспериментальных нейролингвистических (и шире – нейросеmiotических) исследований, осуществленных за последние годы, является выявление принципиальных различий между левым (доминантным) и правым (недоминантным) полушариями по отношению к устной речи и другим видам знаковых систем.

I. Подтверждается гипотеза Джексона, согласно которой правое полушарие оперирует целостными высказываниями – клише типа формул вежливости (приветствий, извинений и других ритуализованных словесных знаков), междометий и ругательств; левое полушарие тоже может с ними оперировать, но для правого они характерны в первую очередь (I). Любое стандартизованное языковое поведение, будь то ритуализованный речевой этикет, закрепленный в правилах приличия, или же противоположный ему набор стандартных правил максимально грубого словоизъявления, оказывается связанным прежде всего именно с работой правого полушария. Лингвистика двух минувших десятилетий вслед за Хомским обращала особое внимание на творческий аспект порождающей языковой деятельности, который соответствует основным языковым функциям левого полушария. Сам Хомский, однако, отмечал (особенно в первых своих работах) что предлагаемый им аппарат не отражает реальной устной речи, включающей и многочисленные паразитические слова, междометные и другие элементы (типа хмыканья), прямо не связанные с правильно построенными грамматическими последовательностями, которые реконструируются после снятия всех этих помех. Все эти помехи – элементы, не существенные для описания порождающей речевой деятельности левого полушария, принадлежит главным образом к сфере правого полушария, как и стандартизованные вежливые формулы и ругательства, не порождаемые, а воспроизводимые

- IGI -

деликом. Более того, исследование семантических ассоциаций при выключении левого полушария во время лечения односторонним электросудорожным шоком, начатое Л.Я.Балоновым, В.Л.Деглиным и их сотрудниками при участии автора, позволяет предположить, что для работы правого полушария в особенности характерны стандартные словосочетания клише, рассматриваемые как целостные единства.

При выключении левого полушария для больного характерны ассоциации типа родительская забота, отчая забота, безотчетный страх (при выключении противоположного полушария характерной ассоциацией к страх у той же больной является синоним ужас), красный цвет (при выключении правого полушария к красный обычно ассоциации зеленый, синий и т.п.), голубой цвет (в отличие от ассоциации голубой - розовый - красный, типичный для левого полушария), коммунальное удобство (в отличие от антонима с отрицанием неудобство, характерного для левого полушария). Поэтому внутри лингвистической семантики то направление, которое успешно занимается комбинаторной семантикой, исследующей подобные типичные клише, направлено на изучение правополушарной семантики в отличие от логизирующей порождающей семантики, ориентированной на левополушарные операции по построению цепочек (последовательностей) слов.

В стандартном языковом поведении значительное число сочетаний слов не творится заново (как можно было бы думать при буквальном понимании воскрешенной в работах Хомского гумбольдтовской мысли о языке как творчестве), а воспроизводится в уже готовом виде. Поэтому представляется возможным и осмысление в свете нейролингвистики экспериментов по определению энтропии языка (посредством угадывания продолжений начатого текста). Тексты, насыщенные клише (и в этом смысле связанные прежде всего с работой правого полушария), несут наименьшую информацию в точном статистическом смысле. С этой точки зрения представляет интерес и вопрос о статистической структуре устного языка фольклорного текста. Стандартные словосочетания (эпические формулы, постоянные эпитеты и т.п.), из которых строится фольклорный текст, в такой же мере должны принадлежать к сфере деятельности правого полушария, как и словосочетания - клише обычного раз-

говорного языка. Эта гипотеза соответствует и данным о за - поминании песен и музыки именно правым полушарием. Можно высказать предположение, что и репертуар особых традицион - ных поэтических сочетаний в той мере, в какой он воспроиз - водит уже ранее существовавшие, в индивидуальном поэтиче - ском творчестве в этом смысле мало отличается от набора фоль - клорных стандартных сочетаний. Существенное отличие от фоль - клорной и традиционной поэзии возникает лишь при появлении установки на подбор новых словосочетаний (в частности, в ли - тературах последних столетий).

Напрашивается вывод, что речевая воспроизводящая дея - тельность правого полушария в существенной степени связана с теми формами употребления языка, которые (как фольклорные и этикетные стандартные формулы) в минимальной степени опреде - ляются индивидуальными речевыми характеристиками личности и могут задаваться коллективными бессознательными программами. Языковые программы, вводимые обществом в индивида в период обучения языку, в левом полушарии дают принципиальную воз - можность построения новых цепочек (в том числе и таких, ко - торые ранее не входили в число уже существовавших текстов на данном языке и соответственно несут максимум информации), а в правом полушарии они сводятся к запоминанию и воспроиз - ведению целостных языковых единств, не члениющихся на состав - ные части (2). Поэтому для описания левополушарной порожда - ющей речевой деятельности не кажутся адекватными те модели в математической лингвистике, где все множество грамматиче - ски правильных предложений предполагается заданным. Напро - тив, для речевых функций доминантного полушария существенно потенциальная осуществимость новых сочетаний слов, тогда как субдоминантное (правое) полушарие воспроизводит уже готовые целостные речевые единства. В принципе любое из таких гло - бальных единств может быть создано и заново, поэтому каждое словесное клише, хранимое в правом полушарии, может быть за - ново синтезировано и левым, подобно тому, как иероглифы, с которыми как с целостными образами обычно оперирует правое полушарие, могут синтезироваться и левым. Но в этом случае меняется стратегия самих операций (3): вместо глобальных об - разов, представляющих собой основную сферу деятельности пра - вого полушария, левое полушарие оперирует с последовательно - стями дискретных элементов. Следовательно, каждый образ (или

нерасчлененное в правом полушарии речевое единство) левое полушарие представляет в виде цепочки элементов.

Кажется возможным поставить вопрос, не является ли результатом левополушарного переосмысления стандартных клише, обычно хранимых в правом полушарии, используемый в поэзии XX в. прием раскрытия внутренней формы таких клише (как у Пастернака, стихи которого изобилуют фразеологическими сочетаниями, осмысляемыми по-новому: "... как в воду опущена роца", "Ты так играла эту роль, я забывал, что сам суфлер"). Здесь было бы возможно сопоставление с данными о нейросемиотике музыкального творчества, которое у людей, музыкально образованных, может в большей степени включать операции левого полушария (4).

2. Открытие семантических функций субдоминантного (правого) полушария позволяет предположить в общих чертах следующую нейросемиотическую интерпретацию основных понятий семантики. Слабой семантикой, занимающейся внутриязыковыми смысловыми трансформациями, сохраняющими смысл, и всеми абстрактными логическими смыслами, выраженными в языке, ведает левое полушарие. Согласно протоколам семантических ассоциаций при выключении правого полушария во время электросудорожного шока, наблюдавшихся Л.Я.Балоновым и В.Л.Деглиным, для левого полушария характерны такие грамматически-семантические ассоциации, включающие глаголы, как забота - о чем-нибудь заботиться, он заботится; злоба - кто-нибудь злится, злобу иметь, злиться на что-нибудь; страх - бояться чего-то; голодный - он голодает; удобство - удобно сидеть, удобно лежать; отрицательные трансформации типа работа - безработица, удобство - неудобство; антонимы типа голодный - накормленный; страх - смелость; здоровье слабое - крепкое; синонимические замены типа он озлоблен, рассердился; развернутые логические толкования слова типа он голодный, когда не ест; болезнь - когда человек болеет; религия - это верить во что-то.

Правое же полушарие ведает сильной семантикой - конкретными значениями слов (прежде всего имен существительных), определяемыми их соотношениями с их денотатами - предметами и такими семантическими ассоциациями между предметами, которые фиксируются в толковых словарях (5). При этом характерной особенностью правого полушария, выявляемой и при его

функционировании во время электросудорожного шока и при опытах на пациентах с расщепленным мозгом (6), является почти полная его неспособность к оперированию с абстрактными понятиями, в том числе и с глаголами (за исключением глаголов в составе ритуализованных или автоматизированных фраз). При выключении левого полушария по данным Л.Я.Балонова и В. Л. Деглина могут оказаться непонятными такие абстрактные слова, как религия, злоба, забота, страх, такие глаголы, как хотеть, спать. Поэтому можно высказать предположение, что и универсальные для всех естественных знаков грамматические конструкции, включающие глагольные формы, и соответствующие им выражения в искусственных языках (типа исчисления предикатов) целиком связаны с работой левого полушария. Правое полушарие умеет называть предметы внешнего мира и устанавливать между ними ассоциативные связи. Но при этом оно не оперирует с концептами, целиком относящимися к сфере левого полушария. Введенный в логической семантике (а затем проникший и в лингвистические исследования) треугольник символ (слово в естественном языке) – концепт – денотат в нейролингвистике как таковой не может быть рабочим понятием. Соотнесение слова и концепта относится к сфере левого полушария, соотнесение слова и денотата – к сфере правого.

Правое полушарие оперирует не понятиями (логическими концептами), а образами, причем преимущественно такими, которые связаны со зрительно-пространственными и тактильно-пространственными восприятиями. При этом существенным представляется то, что концептуализация этих образов целиком принадлежит к сфере левого полушария. Системе названий цветов (абстрактное пространство цветов в смысле Л.Витгенштейна) задается родным языком. При выключении правого полушария во время электросудорожного шока в левом сохраняется четкая система противопоставлений названий цветов (красный – зеленый – синий и т.п.). При выключении левого полушария правое полушарие сохраняет только способность употреблять эти названия в привычных комбинациях слов (красный свет, голубое небо). Иначе говоря, правое полушарие, используя стандартные словосочетания – клише, может имитировать речевую деятельность левого полушария. Автору приходилось беседовать с известным писателем – дальтоном –

ком, который не воспринимал реально ни одного цвета и спрашивал своих знакомых о том, какие цветочные эпитеты прилагаются в их речи к названиям тех или иных предметов. Но самая система русских обозначений цветов (принадлежащая левому полушарию) и набор привычных сочетаний цветочных эпитетов с соответствующими существительными (хранямый в правом полушарии) ему были хорошо известны. Поэтому, читая его романы, встречаешь большое число цветочных эпитетов, примененных в соответствии с языковой нормой (хотя и не имеющих никакой художественной ценности). Следует особенно подчеркнуть роль стандартных словосочетаний, хранящихся и воспроизводимых в правом полушарии, для имитации нормального речевого поведения.

Левое полушарие накладывает языковую (и концептуальную логическую) сеть на конкретные (осознаемо-зрительные) образы, формируемые правым полушарием. Одним из убедительных примеров представляется совокупность тех нарушений работы нижне-теменных отделов левого полушария, которые ранее объединялись термином "синдром Герстмана". При так называемом "синдроме Герстмана" расстраивается, в частности, способность правильного употребления прилагательных левый - правый. Соответствующая зона правого полушария отвечает за реальную ориентацию в пространстве (причем, судя по данным нейрофизиологии обезьян, эта функция является достаточно древней). Левое же полушарие имеет дело не с реальными пространственными различиями, а с их категоризацией, выражаемой, в частности, в словесных обозначениях.

Другим проявлением так называемого "синдрома Герстмана" является нарушение правильного употребления названий числительных и (связанных с ними благодаря счету по пальцам в истории каждого индивида, как и в истории человеческих языков) названий пальцев. Счет представляет собой наиболее типичную операцию построения последовательности, характерную для левого полушария (и находящую дальнейшее продолжение в работе современных вычислительных машин, моделирующих прежде всего работу левого полушария). Счет строится первоначально на установлении взаимно-однозначных соответствий между множеством пересчитываемых пальцев и множеством их названий (с которыми этимологически связаны и соответствующие числительные, ср. такие элементарные

примеры, как десять < *de+k(o)mt-, где *kont- > др. - герм. *hand - 'рука', *de- архаическая форма числительного 'два' в словосложении, то есть 'десять' = 'две руки'; пять, родственное пясть и т.п.). Можно было бы предположить, что наиболее архаичные восприятия множеств (еще не пересчитываемых, а воспринимаемых как целостные единства) относились к функциям правого полушария (2), но счет (предполагаемый для Homo sapiens уже в Верхнем палеолите) предполагает построение цепочек дискретных символов (пальцев, позднее их названий, затем числительных и цифровых знаков), связанное с деятельностью левого полушария.

Высказываемая многими историками мышления (в частности, Л.С.Выготским, О.М.Фрейденом и др.) гипотеза о постепенном развитии от комплексных (образных) форм мышления к понятийным в нейролингвистических терминах может быть истолкована как предположение о постепенном увеличении роли левого полушария и операций, им совершаемых. Можно думать, что этот процесс начинается еще до Homo sapiens и продолжается долгое время в его истории. На последних этапах эволюции процесс начинает ускоряться благодаря созданию систем мозг - машина, в которых логические функции левого полушария находят опору и поддержку в соответствующих функциях вычислительных машин.

3. В той мере, в какой образные знаки языка жестов глухонемых и семантически с ними сходные знаки иероглифи - ческого письма не членились на составные элементы, они относятся к специфическим знаковым системам правого полушария. Поэтому при поражении левого полушария у глухонемых страдает пальцевая азбука, представляющая собой точный семиотический эквивалент буквенного письма, но может сохраниться образный язык жестов (7). Точно так у японцев, владевших до болезни и фонетическими слоговыми азбуками (катаканой и хираганой), и иероглифическим письмом, поражение левого полушария ведет к разрушению фонетического, но не иероглифического письма (8;9). По-видимому, правое полушарие может выработать стратегию распознавания последовательности фонетических слоговых знаков как единого зрительного целого. Так можно объяснить то, что через несколько лет после частично перерезания комиссуральных связей японец с частично расщепленным мозгом может читать вслух и знаки слоговой азбуки

(10). По-видимому, аналогичный процесс может быть предположен и по отношению к фонемам и их последовательностям. Около 20 лет назад в лаборатории Института нейрохирургии, руководимой тогда А.Р.Лурия, автор имел возможность наблюдать больного с опухолью в задних отделах обоих полушарий, который сам о себе говорил: "Я отдельных букв не могу назвать, только в словах". Этот больной мог повторить слог, только пересмыслив его как слово: та-та-та он повторял как так-так-так (II, с.75,76). С этим представляется возможным сопоставить то, что после левостороннего судорожного припадка, вызванного электрошоком, пациент последовательно слогов ба-па и па-ба повторял как слово папа (I2, с.102). Эти же особенности правого полушария сказываются и в буквенном письме: больные с поражением левого полушария не могут писать отдельные буквы, но могут написать сразу свое имя как единое целое (I3).

Представляется возможным поставить вопрос о том, что если для левого полушария характерно перекодирование звуковой речи в последовательности дискретных единиц (фонем и соответственно букв) и обратно, то правое полушарие эту же задачу может решать в соответствии с характерной для него стратегией распознавания целостного образа.

Новейшие исследования в области биокommunikационных систем высших позвоночных подводят к выводу об единых генетических истоках человеческой коммуникации посредством естественного языка и систем звуковой сигнализации у млекопитающих. Сходство касается не только числа фонем, в среднем соответствующего числу сигналов в системах биокommunikации позвоночных (I4;I5;I6;I7). Оно касается и возможностей слухового аппарата, ориентированных на восприятие биокommunikационных сигналов (I8). Однако до тех пор, пока не выяснены границы звуковых элементов в биокommunikационных системах, остается не вполне ясным, не ограничивается ли сходство лишь характеристиками слухового аппарата, соответствующим у человека фонетическим (а не фонологическим) возможностям мозга. Иначе говоря, общим для человека и млекопитающих является возможность распознавания относительно коротких сигналов типа гласных и согласных. Но способность построения (и анализа) цепочек таких сигналов, являющихся фонемами (звуковыми элементами) слов, видимо, характеризует только человека. Эта последняя способность, очевидно, яв-

ляется одной из важнейших функций речевых зон левого полушария.

Однако возникает вопрос, не сохраняет ли правое полушарие (как и подкорковые области обоих полушарий) те способности нерасчлененного глобального восприятия звукового образа, которые, вероятно, существенны для восприятия неречевых звуков (в частности, музыки), специфического для правого полушария. В этом случае механизм восприятия биокоммуникационных сигналов у животных следовало бы связать именно с возможностями правого полушария. Весь этот круг вопросов является, однако, полем будущих экспериментов, которые и должны дать на них ответ.

Особенностью левого полушария является то, что оно не только воспринимает звуки речи (к чему способны и млекопитающие, а также правое полушарие и, очевидно, подкорковые области этих полушарий), но и различает и сопоставляет звуковые (фонемные) оболочки слов. В частности, лобный отдел левого полушария ведает различением слов определенной длины (то есть содержащих определенное число фонем), начинающихся с определенной фонемы. Следовательно, левое полушарие оперирует с речью прежде всего как с набором дискретных единиц. Успехи фонологии можно, следовательно, характеризовать как удачное описание операций, проделываемых со звуковой речью левым полушарием. Значительно менее ясными остаются вопросы, лежащие на пути от фонетического анализа (генетически предопределенного и связанного с характеристиками биокоммуникационных систем) к фонемному. Иначе говоря, остается в значительной степени открытым вопрос о том, как именно левое полушарие переходит к перекодированию воспринятых фонетических сигналов в цепочки дискретных единиц. Преждевременным кажется распространяющееся в психоакустических и зоопсихологических работах применение термина "фонемный" по отношению к тем видам слухового восприятия звуков, для которого неочевидно наличие на выходе цепочки дискретных элементов — фонем. Звуковая речь сводится к фонемам и их последовательностям только благодаря деятельности левого полушария. Ни непосредственная (акустическая и физиологическая) инструментальная регистрация звуковой речи, ни восприятие ее животными или правым полушарием, по видимому, не приводят к однозначной фонемной классификации.

Частным вопросом, связанным с этой же проблемой, является вопрос о звуковой структуре слов междометного (и шире - ритуализованного или автоматизированного) типа, которые в равной мере воспроизводятся обоими полушариями и могут поэтому не подвергаться фонемному анализу (и синтезу). В таких словах обычно обнаруживается целый ряд звуковых единиц, отсутствующих в фонемном инвентаре всех других слов языка, например, фрикативное звонкое заднеязычное /ɣ/ в анлауте русского Господи! /γóspəd'i/, употребляемого как междометие, а также в междометном /ɔγá/, гортанный взрыв в конце разговорного русского отрицания /n'ɛP/, японское инспираторное ɕ (произносимое на вдохе), употребляемое как символ вежливости. Очевидно, неверным было бы допущение в таких словах экстрасистемных фонемных единиц (или элементов сосуществующих фонологических систем). Видимо, в число тех "упаковочных" элементов устной речи, к которым принадлежат и многочисленные звуки - помехи типа хмыкания и покашливания, входят в подобные междометные звуки, существующие в составе соответствующих целостных стандартных единиц и, возможно, не подвергаемые фонемному анализу и синтезу.

Другой проблемой, существенной и для синхронной, и для диахронической фонологии и фонетики, является нейролингвистический статус тонов в тоновых языках. По результатам дихотического прослушивания можно сделать вывод, что в языках типа тайского тоны принадлежат к сфере левого полушария (I). По-видимому, наблюдаемые в истории тоновых языков перекодирование последовательности фонем в другую последовательность, характеризуемую особым тоном (типа древнеки-тайского * miət 'мед' > mit/еще сохраняемое в кантонском/> диалектное miʔ с особым "входящим тоном" - жу шэном), осуществляется левым полушарием. Но правое полушарие, воспринимающее слова как целостные единства (видимо, без выделения в них фонем и фонологически значимых тонов), может помочь в соблюдении преемственности в восприятии одного и того же слова как некоего тождественного самому себе целого независимо от того, как левое полушарие по-новому интерпретирует его фонологические составные части.

4. Число автоматизированных элементов речи, воспроизводимых правым полушарием, относительно невелико. Каждое из них может иметь значительный диапазон значений (доста -

точно напомнить известное место из "Дневника писателя", цитировавшееся в этой связи Выготским и Бахтиным). В этом смысле можно было бы сказать, что правополушарный набор этикетных и междометных элементов по их числу и функционированию в какой-то мере воспроизводит доречевую ситуацию общения предков человека. Число ритуализованных восклицаний не превышает числа сигналов в биокоммуникационных системах; каждое из них соотносится, как и знаки этих последних, с некоторой типичной ситуацией или состоянием (например, опасности или ужаса) и допускает очень широкое использование вне сколько-нибудь ограниченного круга значений. Из этого сопоставления не следует, что верна междометная теория происхождения естественного языка. Естественный язык развился из биокоммуникационных систем благодаря тому, что левое полушарие стало строить из фонем (по акустическим характеристикам близких к биокоммуникационным сигналам) по следовательно, функционирующие в качестве слов. Но в правополушарной системе восклицаний междометного и автоматизированного типа сохранился (лишь частично встроенный в систему естественного языка) реликт доречевого периода истории человеческих средств общения.

В патологических случаях одно — единственное слово, сохраняемое правым полушарием, может служить единственным (и поэтому всеобъемлющим) способом самовыражения. Бодлер, потерявший речь на поздней стадии прогрессивного паралича, мог произносить только одно слово — *сгё пом* — видимо, сокращенное *васгё пом* — 'священное имя' (Бога). В одном из экспериментов Л. Я. Балонова и В. Л. Деглина при выключении левого полушария правое полушарие больного на все предлагавшиеся слова отвечало только одной семантической ассоциацией — тетрадь. Следовательно, в роли условного символа для самовыражения правое полушарие может использовать практически любое слово безотносительно к его первоначальному значению. Вероятно, что на этом пути можно искать — снение многочисленных слов-паразитов (типа "так сказать"), в устной речи большого числа городских жителей играющих роль упаковочного материала, заменяющего внеречевые правополушарные звуки типа хмыкания, покашливания и т. п. Слова-паразиты, избыточные в интеллигентной речи и варьирующие в зависимости от профессии ("на самом деле" в речи учащихся

ся математических школ и вузов и т.п.), по своей "упаковочной" функции могут быть сопоставлены с предельно грубыми вкраплениями в речи других социальных групп. Общим является и полное отсутствие в элементах этого рода концептуального содержания. Любопытно, что в грубых правополушарных восклицаниях как правило стирается и их конкретное первоначальное значение. В этом смысле они отличаются и от биокоммуникационных сигналов.

5. Наиболее существенным морфологическим открытием последнего времени, касающимся функциональной асимметрии мозга, является обнаружение огромных цитоархитектонических различий между речевыми (височно-теменными) зонами левого полушария (порядка 254 планиметрических единиц) и правого полушария (порядка 35 планиметрических единиц). Соответственно и затылочные зоны левого полушария оказываются в четырех случаях из одного более обширными, чем затылочные зоны правого. Наоборот, в девяти случаях из одного лобная доля правого полушария оказывается обширнее лобной доли левого (19). Эти последние выводы представляется возможным связать с данными, по которым лобная доля левого полушария в качестве регулятора эмоций может быть приближена к правому полушарию в целом. Неоднократно высказывавшиеся предположения об особой значимости лобных долей в антропогенезе, по-видимому, следует сопроводить некоторыми существенными оговорками. Некоторые функции лобных долей могут быть существенно древнее тех, которые специфичны для речевых отделов мозга. Антропогенез, охватывающий период не менее 3-4 миллионов лет, и глоттогенез, который может занимать менее 100 тысяч лет, никак не следует отождествлять друг с другом. Несомненно, что Homo *sapiens* (а возможно и его непосредственные предшественники) с самого начала своего существования владел устным языком (2; 19), но развитие мозга, сделавшее возможным использование языка, могло осуществиться задолго до этого, когда основную роль в коммуникации предков человека еще играл язык жестов, а звуковая сигнализация относительно мало отличалась от биокоммуникационной. Такой пример использования древних знаковых систем, связанных у Homo *sapiens* с левым полушарием, как пальцевый счет, показывает, что некоторые архаические последовательности дискретных символов сперва строились с помощью языка жестов, а потом

уже стали приобретать словесные формы.

Одной из интересных новых гипотез, основанных на применении данных о функциях двух полушарий мозга к истории психологии и истории культуры, является концепция Дж. Джейнса. Он полагает, что управление древними человеческими обществами осуществлялось через посредство звучащей внутри человека речи левого полушария, а иногда и сопутствовавших зрительных органов правого, которые интерпретировались как приказания высших сил. Сознание современного человека, по этой гипотезе, развилось благодаря нарушению этой древней системы выявления межполушарных связей в культуре и социальной организации общества. Конкретная хронология этого изменения, Джейнсом относимого к Древнему Востоку и послегомеровской Греции, несостоятельна, потому что и в еще более раннее время встречаются письменные и поэтические устные тексты, предполагающие беседу человека с самим собой (то есть осмысление внутренней речи человека как его души, вступающей с ним самим в разговор, как в египетских, хурритских хеттских и гомеровских текстах). Следовательно, возникновение сознания и внутренней речи следует отнести к значительно более раннему времени. Но кажется закономерным стремление историков культуры установить периоды постепенного использования языка левого полушария не только для общения с другими, но и для управления собственным поведением, как это было выявлено Л.С.Выготским по отношению к переходу внешней речи в эгоцентрическую речь ребенка и затем во внутреннюю речь. Весьма вероятно, что филогенез и здесь может в известной мере оказаться сходным с онтогенезом.

Судя по наблюдениям над жестовой сигнализацией антропидов, обученная языку жестов шимпанзе может использовать этот язык в разговоре с самим собой. В этом можно было бы видеть этап, сходный с эгоцентрической речью. Не исключается, что левополушарной логизированной внутренней речи предшествовала (по-видимому, сосуществующая с ней у современного человека) правополушарная внутренняя речь, основанная на зрительно-пространственных (в том числе и на интериоризованных жестовых) образах.

Взаимодействие двух этих различных форм управления поведением могло осмысляться и в мифологических формах. Но следует оговориться, что интерпретация звуковых галлюцинаций

ций как голоса высшей силы отнюдь не ограничивается теми древними периодами, о которых пишет Джейнс (достаточно не-помнить голоса, слышавшиеся Жанне д'Арк). Интерес предст-вляет и наличие соотношения между преобладанием слуховых (левополушарных) галлюцинаций и взрослым возрастом (в от-личие от характерных для пубертатного возраста 12-15 лет зрительных галлюцинаций) (35).

6. Правое (субдоминантное) полушарие занимается упра-влением движениями человека в конкретном времени и в конкре-тном пространстве. Если воспользоваться кибернетической ана-логией с двухмашинным комплексом, то можно сказать, что пра-вое полушарие напоминает машину, работающую в режиме реаль-ного времени (2). Это согласуется с тем, что именно с пра-вым полушарием соотнесен язык образных указательных жестов, которые в реальном общении людей больше всего помогают им понять смысл таких деиктических эгоцентрических слов, как этот, тот. Сами эти слова - шифтеры в своей звуковой форме принадлежат устному языку и, следовательно, к левому (доми-нантному) полушарию. То же самое можно сказать и о языковых различиях лиц, времен и других грамматических категорий, вы-ступающих в роли шифтеров. По самой своей структуре и по семантике, соотносящихся с актом речи, осуществляемым прежде всего доминантным полушарием, они явно принадлежат этому полушарию. Но семантика самого акта речи может быть понятна только на фоне той конкретной пространственно-вре-менной локализации процессов, которая осуществляется в не-речевом - правом полушарии. Поэтому трудность понимания ав-томатом эгоцентрических слов-шифтеров могла бы быть разреше-на окончательно в таком роботе, в котором языковой "процес-сор" (специальное устройство для обработки речевой информа-ции) был бы соединен с функционально от него отличным авто-матом. Последний должен был бы работать в режиме реального времени и локализовать в конкретном пространстве - времени все процессы, описываемые в языковых высказываниях. С этой точки зрения исключительная значимость эгоцентрических слов - шифтеров определяется и их ролью в соотношении абстракт-ных языковых форм и синтаксических сочетаний, анализируе-мых и синтезируемых в левом (доминантном) полушарии, и кон-кретного пространства - времени, воспринимаемого правым (неречевым) полушарием. Эгоцентрические слова всякий раз

"переключают" высказывание, которое в левом полушарии, по-видимому, может быть оформлено с их помощью только по отношению к акту речи вне конкретной локализации, и включают его в ту ситуацию, которая непосредственно воспринимается правым полушарием. Такая интерпретация личного местоимения я оправдана еще и тем, что осознание себя как единого целого связано с функциями речевого полушария.

Напротив, некоторые патологические случаи разъединения "я" и другого человека внутри самого себя могут иметь истоки в конфликте двух полушарий (и разных зон одного полушария). На этом пути можно искать и более убедительные объяснения происхождения шизофренических расстройств. Психиатр, который наблюдал бы за тем пациентом с расщепленными полушариями, который одной рукой тряс жену, а другой умирал самого себя, легко мог бы заподозрить у него симптомы шизофренического расщепления личности. Для шизофренических расстройств характерны некоторые из тех явлений, которые наблюдаются при поражении одного из полушарий, в частности, изменения отношения к собственному телу и к пространственной ориентации, казалось бы аналогичные некоторым симптомам, сопутствующим расстройству работы правого полушария. Но особенно сти речи шизофреников, делящиеся на два противоположные типа, скорее могли бы свидетельствовать о том, что этим общим термином охватываются заболевания, совершенно различные по своему механизму. При одном типе (при атактическом мышлении) речь отличается исключительной грамматической правильностью при отсутствии какой бы то ни было уловимой тематики: "Почему вы исторический художник, бежавший с балзамом", при другой (при шизофазии) речь всегда неграмматична, тогда как смысл всего высказывания и его соотнесенность с конкретной ситуацией очевидна: "я не спрашиваю домой, т.е. закончена моя процедура жизни" (21, с.16,20) — два в принципе аналогичных типа расстройств обнаруживаются и при нарушении разных отделов коры доминантного полушария.

Особый интерес представляет вывод, согласно которому шизофрения представляет собой расстройство способности к диалогу (22, с.92). В недавнем анализе поздних стихов Гельдерлина Р.О.Якобсон показал, что они отличаются от более ранних его стихов полным отсутствием шифтеров (23, с.80). В противоположность полному отсутствию форм двух первых мар-

кированных лиц (первого и второго) в стихах позднего периода Гельдерлина (24, с. 620, 628) в 51 строке элегии 1820 г. Диотиме встречается 26 форм личных местоимений этих двух лиц, 6 притяжательных местоимений этих лиц и значительное число аналогичных глагольных форм. В глаголе отмечается также вытеснение форм маркированного прошедшего времени немаркированными формами настоящего времени, безраздельно господствующими в поздних стихах (25, с. 44), и маркированных модальных форм немаркированным изъявительным наклонением (23, с. 80, 81). Отсутствие форм первого лица безусловно связано с изменением отношения к собственной личности у поэта, который "звал в рассеяние себя - Буонарроти" (26, с. 107), Скарданелли, Скаривари и Сальватором Роза (4, с. 31). Существенным представляется при этом резкое увеличение числа абстрактных слов, особенно характерных для работы доминантного полушария.

Изменение отношения к собственной личности при шизофрении связывается с особым использованием шифтеров, относящихся к первому лицу. Обнаруживается либо особое использование двух глубинных шифтеров, относящихся к двум "я" (27, с. 176), либо изменение значения "я" по отношению к самому себе (28, с. 96, 97). Пациент психоаналитика Федерна, твердивший постоянно "я уже больше не я" (29), обычно приводится для оправдания мысли, по которой "существуют различные степени ощущения "я", зависящие от степени центрации субъективной системы, которая в патологических случаях может быть очень низкой или даже совсем отсутствовать" (30, с. 362). Современные данные нейролингвистики и нейропсихологии позволяют предположить, что в основе этой центрации лежит деятельность доминантного полушария. Поэтому аномалии в использовании шифтеров могут быть связаны с нарушениями этой деятельности. В частности, согласно той модели, по которой шизофрения (по-видимому, одна из форм, охватываемых этим названием) может описываться как наличие двух центров левополушарного типа (31, с. 168), наличие двух шифтеров - двух семантических различающихся личных местоимений "я" - может быть симптомом этой формы заболевания. Напротив, такие шизофренические расстройства, при которых наблюдаются поражения функций доминантного полушария (32), могут вести к тем же трудностям в употреблении личных местоимений,

которые характерны и для очаговых и травматических поражений левого полушария.

Другой характер носит симптом, называемый "деперсонализация" (33) и наблюдаемый при очаговых поражениях правого полушария. В этом случае больной продолжает использовать местоимение "я", но относит его к чему-то, находящемуся вне его тела, обычно слева (34). Последнее обстоятельство связано с характерной особенностью правого полушария, при нарушении работы которого больной перестает воспринимать левую сторону своего тела как ему принадлежащую.

Можно, следовательно, выделить два отличных друг от друга случая нарушения цельности личности. Один из них связан с нарушением работы правого полушария (возможно, и с понижением его корковой реактивности, характерной для некоторых форм шизофрении (36)), другой - с функционированием двух различных центров левополушарного типа, благодаря чему возникает симптом расщепленной личности, сменяющийся и в употреблении шифтеров первого лица.

Бенвенист в своем анализе категории лица в языке отмечает, что "первым определяющим признаком лиц "я" и "ты" служит только им присущая уникальность: "я", которое производит высказывание, "ты", к которому "я" обращается, каждый раз уникальны. Напротив, "он" может представлять собой бесконечное число субъектов - либо ни одного. Вот почему фраза Рембо " *je est un autre* " "я есть другой" представляет собой типичное выражение сумасшествия, "умственного отчуждения" (*aliénation mentale*) когда человек как личность лишается тождества с самим собой" (37, с.264).

Рембо в мае 1871 г. писал Жоржу Изамбару: "*Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce n'est par du tout ma faute. C'est faux de dire: Je pense. On devrait dire: On me pense. Pardon du jeu de mots. Je est un autre".* Современный исследователь семиотики категории лица отмечает, что Рембо мог бы выразить свое тождество другому и в форме "je suis un autre" (28, с.97) ср. в том же тексте: "*je me suis reconnu poète*". Но он выбрал форму с глаголом в 3 лице, что аналогично приведенному выше высказыванию пациента Федерна.

7. Одной из существенных проблем, связанных с левополушарными категориями субъективности (в том числе и языко-

- 137 -

вой, ср.37, с.299-300), представляется проблема категории притяжательности и собственности. Предполагается, что эти категории являются левополушарными (38). Известно, что границы "я" существенно варьируют в зависимости от возраста и культуры и меняются при душевных болезнях на протяжении коротких отрезков времени (29). "У маленького ребенка части тела только постепенно включаются в общий образ тела" (30, с. 263). У взрослого этим образом ведает правое полушарие, при нарушении работы которого вся левая сторона тела воспринимается как "не своя" (20). Но категория принадлежности и собственности формулируется благодаря языковой категоризации понятия "мой" (или "наш"), в чем заключается существенное отличие от "территориального императива", определяющего отношение животного к той территории, которую оно считает "своей" и на которой оно атакует пришельца. У человека (в этом смысле не отличающегося от животного) "границы "моего" не совпадают с поверхностью тела. Некоторые объекты, близкие к нам люди, воспоминания, мысли в равной мере могут стать "моими". Принадлежность объекта к "моему" наиболее отчетливо проявляется в том, что при утрате его мы реально чувствуем себя "лишенными чего-то". Реакция на посягательство на "мое" является объективным критерием, позволяющим, минуя интроспекцию, определить его границы" (30, с.263). Степень вхождения вещей, принадлежащих человеку, в его "я" меняется при поражениях левого полушария, вызывающих афазии (39, с.181,199 и след.), чем подтверждается левополушарный характер соответствующих категорий.

Особенно наглядно собственно языковой характер категории собственности и принадлежности обнаруживается в таких языках, как меланезийские, где (как и в тунгусо-манчжурских, абхазо-адыгских и некоторых других языках) грамматически различается категория отчуждаемой и неотчуждаемой принадлежности. "У меланезийцев чувство собственности на некоторые предметы непосредственно связано с осознанием личности и они почти совпадают друг с другом. "Я" каждого человека не представляется ни ему самому, ни другим как нечто строго ограниченное внешней поверхностью его тела; имеется некоторое количество предметов, сопричастных природе этого "я". Сюда относятся, кроме естественных выделений, предметы, произведенные человеком и находящиеся в постоянном его употре-

блени - одежда, оружие, украшения" (40, с. 214, 215; 41, с. 457, 458). Исследования последнего времени показали, что категория неотчуждаемой принадлежности как глубинная семантико-синтаксическая категория существует в очень большом числе языков. Этот вывод может представить интерес и для выяснения тех форм поведения, которые (в особенности в патологических условиях нарушения нормальной работы полушарий головного мозга) могут быть связаны с гипертрофированным или расширительным пониманием этой категории.

Перечисленными выше проблемами отнюдь не исчерпывается тот круг вопросов, которые возникают при исследовании нейросемиотики устной речи в свете функциональной асимметрии мозга. Особенно существенным представляется эволюционный аспект проблемы, благодаря которому впервые удастся наметить связи, определяющие связь развития мозга с перестроением биокommunikационных систем звуковых сигналов в собственно человеческую устную речь (42). С другой стороны, выявляются и особенности онтогенетической смены ролей доминантного и субдоминантного полушарий по мере овладения ребенком устной речью (43). Большинство вопросов еще только поставлено. От их решения зависит и точная формулировка многих традиционных выводов лингвистики и семиотики, пересматриваемых в свете нейролингвистики и нейросемиотики.

Л и т е р а т у р а

1. Lanskier van D. Heterogeneity in language and speech: neurolinguistic studies (Working Papers in Phonetics, 29), Los Angeles, 1975.
2. Иванов В.В. Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. М. "Советское радио", 1978.
3. Hardyck C., Tzeng O.J.L., Wang W.S.-Y. Cerebral lateralization of function and bilingual decision processes. Is thinking lateralized? - "Brain and language", 1978, vol. 5, No 1, pp. 56-71.
4. Hirskowitz M., Earle J., Paley B. EEG alpha asymmetry in musicians and non-musicians: a study of hemispheric specialization. - "Neuropsychologia", 1978, vol. 16, pp. 125-128.
5. Moscowitch M. On the representation of language in the right hemisphere of the right-handed people. - "Brain and language", 1976, vol. 3, No 1, pp. 47-71.

6. Sugishita M. Mental association in the minor hemisphere of a commissurotomy patient.- "Neuropsychologia", 1978, vol.16, pp. 229-232.
7. Sarno J.E., Swister L.P., Sarno M.T. Aphasia in a congenitally deaf man. - "Cortex", 1969, vol.5, pp.398-414.
8. Susanuma S., Fujimura O. Selective impairment of phonetic and non-phonetic transcriptions of words in Japanese aphasic patients. Kana vs. Kanji in visual recognition and writing. - "Cortex", 1971, vol.7, pp.1-8.
9. Susanuma S., Fujimura O. Kana and Kanji processing in Japanese aphasics.- "Brain and language", 1975, vol.1, No 2, pp. 369-383.
10. Sugishita M., Iwata M., Toyokura Y., Yoshioka M, Yama - da R. Reading of ideograms and phonograms in Japanese patients after partial commissurotomy. - "Neuropsychologia", 1978, vol.16, pp. 417-426.
11. Иванов В.В. Лингвистика и исследование афазии.- "Струк - турно-типологические исследования", М., изд. АН СССР, 1962.
12. Балонюв Л.Я., Деглин В.Л. Слух и речь доминантного и недоминантного полушарий. Л., "Наука", 1976.
13. Luria A.P., Simernitskaya E.G., Tubylevitch B. The structure of psychological processes in relation to cerebral organisation. - "Neuropsychologia", 1970, vol. 8, pp. 13-19.
14. Smith W.J. Messages of vertebrate communication.-"Science", 1969, vol.165, pp. 145-150.
15. Mogniben M.H. Comparative aspect of communication in New World primates. - "Primate ethology essays on the socio-sexual behavior of apes and monkeys", ed. by D. Morris, Chicago, 1969, pp. 306-392.
16. Wilson E.O. Sociobiology. The new synthesis. Cambridge, Mass., 1975.
17. Иванов В.В. Очерки по истории семиотики в СССР. М., "Наука", 1976.
18. Бару А.В. Слуховые центры и опознавание звуковых сигналов. Л., "Наука", Ленинградское отделение, 1978.
19. Galaburda A.M., Le May M., Kemper Th.L., Geschwind N. Right-left asymmetries in the brain.-"Science", 1978, vol. 199, No 4331, pp. 852-856.
20. Доброхотова Т.А., Брагина Н.И. Функциональная асимметрия и психопатология очаговых поражений мозга. - М., "Медицина", 1977.
21. Случевский Ф.И. Атактическое мышление и шизофрения. - Л., "Медицина", Ленинградское отделение, 1975.
22. Leodolter R. Gestörte Sprache oder Privatprache: Kommunikation bei Schizophrenen. - Wiener Linguistische Gazette, 1975, 10-11, SS. 75-95.
23. Jakobson R. and Lütke-Grothues G. Ein Blick auf Die Aussicht von Hölderlin. - В кн.: Jakobson R. Hölderlin. Klee. Brecht. Zur Wertkunst dreier Gedichte.

Eingeleitet und herausgegeben von E.Holenstein.Baden-Baden, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft,1976, SS.27-96.

24. Supprian U. Schizophrenie und Sprache bei Hölderlin.- Fortschrifte der Neurologie/Psychiatrie, 1974,47, 88. 615-634.
25. Böschenstein B. Hölderlins späteste Gedichte. В кн.:Hölderlein-Jahrbuch, Bd.14, 1965/1966, SS.35-56.
26. Кушнер А. Голос. Л. "Советский писатель", Ленинградское отделение, 1978.
27. Laing R.D. The divided self. Baltimore, Penguin, 1965.
28. Lafférière D. The subject and discrepant use of the category of person.- Versus. Quaderni di studi semiotici, diretti da U. 1976, No 14, pp. 93-104.
29. Federn P. Ego psychology and the psychoses. New York, Basic Books Inc., 1952.
30. Мейли Р. Структура личности.- В кн.: Экспериментальная психология. Редакторы-составители П.Фресс и Ж.Пиже. М., "Прогресс", 1975,с.196-283.
31. Кауфман Д.А. Проба измерения скорости каллозального поведения у здоровых испытуемых и больных шизофренией.- В кн.: Функциональная асимметрия и адаптация человека (Труды Московского научно-исследовательского Института психиатрии МЗ РСФСР, т.78), М., 1976,с.168.
32. Flor-Henry P. Lateralized temporal - limbic disfunction and psychopathology. В кн.: Origin and evolution of language and speech (Annals of the New York Academy of Sciences, vol.280), New York, 1976, pp. 777-795.
33. Меграбян А.А. Дегерсонализация, Ереван, Армгосиздат, 1962.
34. Герцберг М.О. К вопросу о нарушении "я" после черепно - мозговой травмы.- В кн.: Проблемы современной психиатрии. М., 1948.
35. Поппе Г.К. Зрительные галлюцинации, псевдогаллюцинации и онейризмы при шизофрении в пубертатном возрасте.- В кн.: Шизофрения. Алкоголизм. Ташкент, Таш. Гос. Ми, 1978, с.151-154.
36. Каменская В.М., Вертоградова О.П. Корчинская К.М., Дудаева К.И., Ореков В.В. Электрофизиологическая и психопатологическая характеристика шизофренических депрессий.- В кн.: Шизофрения. Алкоголизм, с.236-238.
37. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., "Прогресс", 1974.
38. Popper K.R., Eccles J.C. The self and its brain. New York, Springer, 1977.
39. Шибутани Т. Социальная психология. М. "Прогресс", 1969.
40. Леви-Брюль Л. Выражение принадлежности в меланезийских языках.- в кн.: Эргативная конструкция предложения. М., Изд. ин. лит.-ры, 1950.
41. Яковлев Н.Ф., Ашхамаф Д.А. Грамматика адыгейского литературного языка.- М.-Л., Изд. АН СССР, 1941.

42. Evolution and lateralization of the brain, ed. by S.J. Diamond and Dr.A.Blizard. New York, The New York Academy of Sciences, 1977.
43. Хриэман Т.П. Развитие функций мозга ребенка. Электроэнцефалографические исследования. Л. "Наука", Лен.отд. 1978.

СТРУКТУРА УСТНОЙ РЕЧИ И ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ

И.А. Паперно

При поверхностном наблюдении поведение индивида может представиться огромным хаотическим набором проявлений, относящихся к самым различным областям деятельности. Однако в ходе анализа выясняется, что поведение определенным образом организовано. Этот организованный характер поведения интуитивно осознается человеком в повседневной жизни, о чем свидетельствуют бытовые представления о характере, психологическом типе, судьбе и проч. При внимательном рассмотрении легко заметить, что разнородные элементы поведения связаны между собой, разнопорядковые явления взаимодействуют и образуют единство. В кажущемся хаосе разнообразных проявлений человека выделяются цепочки повторяемостей — проявлений, которые повторяются либо буквально, либо в виде более или менее легко опознаваемых вариантов. Так, А. трижды выходит замуж за человека, тяжело больного и много старше себя. Б. боится говорить по телефону, не любит писать письма и обмениваться приветствиями со знакомыми. В. испытывает трудности в общении; его речь сопровождается заиканием. Г., принимая важные решения в своей жизни, затем отменяет их, а потом возвращается к ним снова; в бытовой жизни у него есть привычка, выйдя из дома, за чем-нибудь вернуться назад, и лишь потом уйти окончательно. В первом случае в жизни А. несколько раз воспроизводится ситуация тождественной структуры. В случае с Б. общий смысловой компонент объединяет три проявления: нелюбовь к формам общения, вынуждающим к соблюдению ритуала. На примере В. реализуется проявление одной и той же особенности личности на разных уровнях поведения; на примере Г. — в разных масштабах. Такие цепочки повторяющихся вариантов элементов поведения (мотивы) насквозь прошивают поведение индивида в целом. Разные мотивы пересекаются друг с другом, взаимодействуют и образуют единую структуру —

структуру поведения индивида¹.

Таким образом, поведение можно рассматривать как текст, то есть как единую структуру, которая несет в себе определенное сообщение². Это "сообщение", извлекаемое сознательно или интуитивно из текста поведения индивида, представляет собой не что иное, как психологический инвариант данной личности, который позволяет понять смысл отдельных проявлений и их закономерную связь между собой. Однако применение понятия структуры к индивидуальному поведению и способы формирования смысла в этой структуре имеют свою специфику по отношению к тем текстам (преимущественно письменным текстам), на материале которых в семиотике были выработаны эти понятия.

Совершенно очевидно, что текст поведения не может строиться в соответствии с грамматикой в ее традиционном понимании. Так, генеративная грамматика предлагает модель структуры, в которой место каждого элемента относительно других элементов, а также характер и направление зависимостей между элементами, и даже то, какие именно элементы оказываются связанными между собой, — строго определены и регламентируются определенными правилами. Образование смысла в таких структурах строится как структурирование отдельных компонентов смысла в соответствии с фиксированным набором правил. Такой структурированности нет и в принципе не может быть в тексте поведения. Это невозможно, во-первых, потому, что поведение — принципиально открытый и необратимый текст, то есть подвизывание все новых и новых элементов к нему практически неограничено и происходит непрерывно, а в такой ситуации каждый новый элемент не получает своего четкого структурного места относительно других элементов. Второе важное свойство текста поведения — многоканальность, то есть одновременность передачи информации через разные источники.

Поведение как текст разветвляется по нескольким параллельным каналам одновременно. Наблюдая поведение чело-

¹ Подробнее о мотивной структуре поведения см.: И. Паперно. К построению семиотической модели индивидуального поведения. — "Труды по знаковым системам", 13. Тарту (в печати).

² О понятии текста см.: Ю.М. Лотман. К проблеме типологии текстов. В кн.: Ю.М. Лотман. Статьи по типологии культуры, I. Тарту, 1970, с. 78.

века, мы одновременно воспринимаем, как он а) говорит, б) совершает какие-то мимические, жестовые и иные движения, которые, вместе с манерой одежды, типом телосложения, составляют его внешний облик, в) каковы его бытовые привычки; из содержательной стороны речи мы получаем информацию о г) фактах его биографии и д) чертах мировоззрения и проч. Таким образом в каждый отдельный момент порождается целый пучок элементов поведения, который в следующий момент сменяется новым пучком. Постараемся выделить каналы, по которым передается информация в поведенческих текстах.

Одним из таких каналов является биография. Под биографией понимается канва событий в жизни человека: время и место рождения, смена мест жительства, состав семьи, выбор профессии и учебных заведений, места работы и этапы служебной деятельности, поездки, женитьба, рождение детей, болезни, смерть родных и друзей и т.п. Любопытно, что в этот ряд при анализе поведения на практике часто попадают и события из биографии родителей и детей индивидуума, являющегося объектом анализа, — семейные мотивы. Например, оказывается, что представители нескольких поколений одной семьи избирают одну профессию; что переезды в биографии какого-то лица продолжают ряд переездов, совершенных его отцом, и что сын этого лица тоже много переезжает с места на место, и т.п.

Другой канал составляют бытовые поступки (привычки): порядок и ход бытовой домашней жизни. Если в первом случае мы имеем дело с событиями, отмеченными в промежутке всей жизни, то во втором — в течение дня: утреннее вставание и укладывание спать, еда, поездки в транспорте, занятия домашним хозяйством, приход гостей и визиты в гости, звонки по телефону, мытье и проч. Эти два уровня поступков соотносятся друг с другом как макрособытия (биография) и микрособытия (быт). Эти уровни, с одной стороны, часто являются изоморфными, то есть в проявлениях того и другого уровня человек может воспроизводить одни и те же схемы поведения (как в примере с Г.). С другой стороны, они могут быть независимы друг от друга; так, даже резкие смены на макроуровне (радикальные поступки) могут ничего не менять на микроуровне в бытовых привычках.

Внешний облик индивида тоже передает информацию о нем

по двум каналам, соотношение между которыми аналогично двум каналам, описанным выше. К макроуровню отнесем тип сложения тела; к микроуровню — мимику, жесты, характер движений (походка и т.п.), манеру одеваться.

Тип сложения принято соотносить с типом темперамента, характером, предрасположенностью к различным психическим заболеваниям и т.п.³ Большую информацию о психике человека несут также мимика, жесты, походка и т.п. Причем тип телосложения обычно связан с постоянными исходными характеристиками личности и часто является наследственным, тогда как микрочерты внешнего облика в большей степени отражают повседневные привычки, приобретенные в течение жизни, а также динамику развития личности.

Мировоззрение — система теоретических представлений человека об окружающем мире и о себе самом — составляет еще один канал, по которому передается информация в поведенческих текстах.

В отдельный канал выделим принципы взаимоотношений человека со средой и с другими людьми. К этому каналу относятся характер эмоциональных реакций индивида на определенные явления окружающей среды, а также схемы поведения во взаимоотношениях с людьми (например, подчинение или доминирование, уклонение от контакта, выбор партнера и проч.). Эти два канала можно соотносить друг с другом как макро- (представления о мире) и микроуровни (взаимоотношения с миром) поведения. Они могут быть как изоморфны, так и независимы друг от друга. То есть мировоззрение может в одних случаях отражать истинные принципы общения человека с реальностью, а в других не иметь прямой связи с ними.

Речевое поведение можно рассматривать как два канала, также соотносящиеся как макро- и микроуровни. К первому отнесем тематические характеристики речи, а именно частотность появления в разговорах индивида определенных тем и знаков этих тем, принципы, в соответствии с которыми сменяются, сцепляются друг с другом, переплетаются темы разго-

³ См. об этом, например: Э.Кречмер, Строение тела и характер. М.-Л., 1930; W.H.Sheldon, S.S.Stevens, The varieties of Temperament, N.Y., 1942.

воров, например, характерные тематические ассоциации, любимые истории, известные заранее, и проч.

Ко второму речевому каналу можно отнести формальные характеристики речи, которые на практике широко используются при психологическом анализе. Так, например, особенности артикуляции и интонации несут информацию о географических, социальных, культурных характеристиках среды, в которой вырос человек. Наряду с этим мелодика речи может отражать эмоциональное состояние говорящего; так, общий тон речи повышается при волнении, а также, как показали недавние исследования, в ситуации лживой речи⁴. Особенности синтаксической структуры фразы и целого текста коррелируют с некоторыми типами нарушения психики, а трудности в употреблении имен собственных и местоимений связывались с шизоидностью и шизофренией.⁵ Информативным может оказаться и характер использования различных грамматических категорий⁶, а также лексический состав речи.

Последний канал, значимый при анализе текста патологического поведения, составляют симптомы психопатологии. Помимо специфических форм поведения, никогда не встречающихся при нормальном поведении, к этому каналу могут относиться проявления, принадлежащие к любому из восьми выделенных ранее каналов. Психопатология может исказить и биографию, и бытовые привычки, и внешний облик, и речь индивида. Таким образом, информация, которую несет канал симптомов, как бы накладывается на общую структуру поведения.

Итак, текст поведения разворачивается по девяти каналам, то есть пользуется девятью разными способами передачи информации, причем все каналы, или любое их количество, могут работать одновременно. В единицу времени порождается не один элемент, а целая секвенция элементов, и такие секвенции непрерывно сменяют друг друга. Фактически, в непрерывном по-

⁴ См., например: K.R.Sherer. Gudging personality from voice: a cross-cultural approach to an old issue in interpersonal perception. - "Journal of personality", vol.40, No 2, pp.191-210.

⁵ См. G.Bateson. The Group Dynamics of Schizophrenia. In: G.Bateson. Steps to an Ecology of Mind, 1973, pp. 199-214.

⁶ Так, например, Л.М.Кроль сообщил мне свое наблюдение о почти полном отсутствии категории будущего времени в речи депрессивных больных.

токе развертывания многослойного текста поведения элементы этого текста теряют дискретность: они пересекаются, накладываются, сливаются друг с другом, образуя конгломераты.

Благодаря многоканальности поведенческого текста взаимно обогащается тот смысл, та информация, которую несет каждый из каналов. Смысл элемента, переданного по одному из каналов, иначе воспринимается, когда известны соотнесенные с ним элементы, переданные по другим каналам.

Рассмотрим с точки зрения отмеченных свойств поведения как текста конкретный пример. Первоначально исследователь имеет дело с хаотическим набором элементов: разноканальных и одновременных проявлений индивида, являющегося объектом анализа (назовем ее условно Д.), наблюдаемых во время интервью. Для того, чтобы реконструировать из этого материала структуру текста поведения, следует обратить внимание на элементы, варианты которых повторяются в тексте более, чем один раз. Во-первых, сам факт повторения свидетельствует о значимости этих элементов. Во-вторых, сопоставляя несколько вариантов одного элемента, можно вывести смысловой инвариант, то есть тот общий компонент смысла, который имеется у всех вариантов.

До обнаружения этой связи каждый элемент, взятый в отдельности, содержал в себе бесконечное число возможных интерпретаций его смысла. Обнаруженная связь показывает, какая именно из этих потенциальных интерпретаций актуализируется в данном тексте. Таким образом, путем сопоставления вариантов выводится тот смысл, который несут эти варианты в данной структуре. Выведение инвариантного смысла из сопоставления вариантов является операцией, которая имеет место при семантической интерпретации любой семиотической структуры. Однако структура описываемого типа имеет одно важное свойство, специфическое по сравнению со структурой "грамматического" (письменного) типа. Это свойство состоит в особом соотношении инвариантов и вариантов. В структуре "грамматического" типа инвариант включает в себе только общие черты всех вариантов, полностью снимая их индивидуальные различия; поэтому восхождение от вариантов к инварианту всегда является упрощением, или свертыванием смы-

словых признаков⁷. В структуре поведенческого текста нет такого противопоставления. Все специфические черты вариантов при восхождении к инварианту не отбрасываются. Они включаются в общий смысл так, что все признаки одного варианта взаимодействуют со всеми признаками других вариантов. Таким образом, при каждом появлении следующего варианта общий смысл не упрощается, а усложняется. Такие цепочки повторяющихся в виде вариантов элементов текста поведения, наделенных общим суммарным смыслом, мы и называем мотивами.

Во всем наборе многообразных проявлений, которые можно было наблюдать во время интервью с Д., выделим три таких мотива. Варианты одного из них составляют элементы поведенческого текста, поступающие по нескольким различным каналам. Во-первых, это канал внешнего облика: Д. одета с особой тщательностью, плачет в течение интервью, смотрит в зеркало прежде, чем выйти из комнаты. Во-вторых, это канал взаимоотношений: Д. рассказывает, что в отрочестве считала себя уродливой; сомневается, что может кому-либо понравиться. Наконец, в данном случае действует и канал психопатологических симптомов: Д. страдает эритрофобией (боязнью покраснеть) и больна глаукомой.

Каждый из перечисленных элементов несет в себе какой-либо специфический оттенок смысла, который включается в общий, инвариантный смысл мотива. Так, тщательность в одежде, зеркало выступают как знаки идеи заботы о внешности; слезы, глаукома — "что-то не в порядке с глазами"; глаза в данном случае выступают в качестве метонимии темы внешности. Слезы, эритрофобия — "стыд и отчаяние" (ср. общекультурное значение слез и покраснения). Другой смысловой оттенок, который данный элемент включает в состав общего смысла мотива, состоит в том, что слезы и покраснение связаны с идеей "порчи внешности". Отроческие представления о своей уродливости связаны с общим представлением о своей дурной внешности. Сомнения в способности нравиться выражают идею о фатальных последствиях дурной внешности. Общий смысл первого мотива можно

⁷ Описания такого типа разрабатываются в работах А.К. Жолковского и Ю.К. Шеглова. См., например: А.К. Жолковский. О трех важных принципах семиотического описания. — "Семиотика и информатика", вып. 9. М., 1978, с. 3-31.

сформулировать так: "я боюсь, что плохо выгляжу, это приведет меня в отчаяние, мне стыдно, потому что при такой внешности я никому не могу понравиться".

Сопоставленными между собой оказываются элементы поведенческого текста, независимо от того, на каком расстоянии они находятся друг от друга (например, отроческие переживания и поведение во время интервью значительно разделены между собой во времени). Смысл каждого отдельного элемента проясняется из сопоставления его с элементами других каналов и с другими элементами того же канала. Например, тщательность в одежде, которая в принципе может означать разные вещи, проясняется из сопоставления с сомнениями в своей способности нравиться; сомнения в способности нравиться получают определенный смысловой оттенок, если связать их с отроческой уверенностью в своей уродливости, и т.п. При этом некоторые элементы сопоставляются с разными, несколькими другими элементами, то есть включаются в многомерные связи (слезы - глаукома, слезы - эритрофобия).

Аналогичную структуру имеют два других мотива, выделенных в тексте поведения Д. Второй мотив мы назовем мотивом временности (или мотивом разрыва). К нему относим следующие проявления: в детстве Д. семья часто переезжала с места на место, и дружеские связи постоянно рвались и затем завязывались снова на новом месте. Этот элемент текста принадлежит к каналу биографии. Следующий элемент можно отнести к каналу взаимоотношений: все отношения Д. с людьми, в особенности сексуальные отношения, носят временный и краткий характер. К третьему мотиву - мотиву страха брака, относим следующие проявления: брак родителей был неудачен, и в детстве это очень огорчало Д. (канал биографии); объектом ее первой влюбленности стал женатый человек, и в дальнейшем такие ситуации повторялись еще несколько раз (взаимоотношения); Д. трижды отвергала предложения вступить в брак (биография); Д. вообще не верит в возможность счастливых браков (мировоззрение).

Не возвращаясь в описании двух других мотивов к свойствам текста, уже описанным на примере первого мотива, отметим, что некоторые элементы представляют собой конгломераты, в которых слились смысловые компоненты нескольких разных элементов, принадлежащие к разным мотивам. Например, вре-

менный характер отношений с людьми соединил в себе и идею временности, и страх брака, то есть постоянных отношений, и неуверенность в своей способности нравиться, которая толкает к установке на кратковременность и разрыв связей. Через такой конгломерат связываются между собой несколько разных мотивов и происходит взаимодействие между элементами, относящимися к разным тематическим линиям.

Как видно, связность текста и образование смысла в тексте поведения строятся иначе, чем в структурах, к которым применимы правила грамматики. Синтагматические связи между элементами играют в такой структуре крайне незначительную роль; структурность строится из сопоставления всего со всем, любых элементов текста, разделенных во времени, принадлежащих к разным каналам, между собой; причем каждый элемент может вступать в связи не с одним каким-нибудь элементом, а с любым количеством других элементов. Возникает густая сеть разнонаправленных, множественных связей: любые части текста могут быть сопоставлены между собой. Снимается ограничение на сочетаемость. Эта особенность структуры — нелинейность — составляет характерное свойство текста поведения. Нелинейность структуры поведения вытекает уже из условий развертывания текста — непрерывности, необратимости во времени и многоканальности. При таком способе порождения текста его элементы не могут образовывать линейную последовательность; они не могут подчиняться заранее определенным правилам сочетаемости, поскольку невозможно фиксировать все связи между ними. Связность такого текста строится в значительной мере за счет тематических повторов, возвращений и пересечений тематических линий. Повторы скрепляют единство текста, напоминая, актуализируя в сознании пройденные участки, связывая проявления разных форм поведения. Именно поэтому повтора, возвращающиеся (в варьированном виде) одного и того же элемента смысла выбраны в качестве единицы описания поведения как текста — мотива. Линия развертывания одного мотива в тексте поведения дробится, прерывается, прерывы заполняются элементами других мотивных линий, затем прежняя мотивная линия возвращается вновь, в виде одного из своих вариантов, семантически обогащенного благодаря взаимодействию с вариантами другого мотива и другими вариантами того

же мотива. Разные мотивы пересекаются между собой и образуют единую структуру, которую мы интуитивно воспринимаем или сознательно выделяем из наблюдаемого поведения индивида как структуру поведения, структуру личности.

Нетрудно заметить, что в указанных свойствах структура поведения как текста обнаруживает параллелизм со структурой устной речи. Устный текст тоже разворачивается как непрерывный поток, необратимый во времени, и строится одновременно по нескольким каналам (вербальный, мелодический, визуальный и т.д.). Нелинейность является основным структурным принципом устного текста, а снятие ограничений на сопоставление между собой любых участков текста – естественным следствием частичной потери структурных связей, которая происходит в речи при устной коммуникации⁸. Большую роль в построении связной устной речи, так же как и в тексте поведения, играют повторы⁹. Все это позволяет провести аналогию между принципом образования смысла в устном тексте и в тексте поведения и перенести на анализ поведения правила деривации смысла, выведенные на основании изучения семантики устной речи.

Смысл в такого рода структурах возникает в виде неструктурированного комплекса, в котором совмещаются и взаимно накладываются друг на друга различные компоненты смысла, причем эти компоненты взаимодействуют друг с другом, так что между ними возникают многомерные, нерегламентированные заранее связи. Рассмотрим процесс образования смысла в приведенном примере подробнее.

Общий смысл первого мотива образуется через включение в один смысловой комплекс многих компонентов, которые несут в себе разные элементы текста (разные проявления индивида), причем при деривации смысла некоторые элементы сопоставляются разными своими сторонами с несколькими другими элементами, так что в результате этих многомерных сопоставлений про-

⁸ Сведения о структуре устной речи здесь и дальше мы заимствовали из статьи: Б.М.Гаспаров "Устная речь как семиотический объект". В кн.: Семантика номинации и семиотика устной речи. Лингвистическая семантика и семиотика I, Тарту, 1978, с. 63-112.

⁹ Эта проблема впервые поставлена в: О.Б.Сиротинина. Современная русская разговорная речь и ее особенности, М., 1974, с. 121-126.

ясняются новые оттенки смысла, которые тоже включаются в единое смысловое "пятно". Однако на этом процесс образования смысла в тексте поведения не останавливается. Смысл мотива в целом и отдельные его компоненты вступают в связи с общим смыслом других мотивов и с отдельными компонентами смысла этих мотивов. В результате этих сопоставлений индуцируются новые оттенки смысла, которые включаются в общий комплекс смысла всего текста. "Я плохо выгляжу... и не могу никому понравиться" — этот компонент смысла бросает отблеск на смысл другого элемента: повторяющегося отказа вступить в брак; на фоне данного сопоставления отказ начинает восприниматься в новом свете — как проявление неуверенности в себе. В свою очередь, на этом фоне выбор в качестве сексуального партнера женатого мужчины приобретает специфический смысловой оттенок: это выбор партнера, брак с которым невозможен не по вине самой Д. В сопоставлении с отказами от брака образуется общий (не еще не окончательный) смысл: порожденное неуверенностью в себе, в своей способности нравиться, стремление уклониться от супружеских отношений. Другой смысловой компонент проясняется из сопоставления предыдущих контекстов с временным характером всех взаимоотношений, в которые вступает Д. и с частыми переездами, сопровождавшимися вынужденной временностью и принципиальной конечностью всех дружеских связей. Итак, Д. избегает брака, поскольку брак вызывает необходимость постоянных отношений, и стремится построить свои отношения с партнером так, чтобы гарантирован был временный их характер. Различные смысловые контексты (смысловые связи, которые возникают у каждого варианта мотива при все новых и новых появлениях их в тексте) накапливаются, каждое текущее прибавление компонента смысла инкорпорируется в общее пятно. Так, неудачный брак родителей, смысл которого подкрепляется сопоставлением с представлением Д. о том, что счастливые браки вообще невозможны, включается в общий комплекс и объясняет навязчивое стремление избежать брака, с одной стороны, и уверенность в фатальности своей дурной внешности, с другой. На фоне идеи о чрезмерной сложности построения постоянных отношений этот, казалось бы, мелкий дефект приобретает преувеличенные разме-

ры в сознании Д. Ее отчаянье и стыд на этом фоне значат не только чувства, вызванные своей внешностью, но и предвиденье несчастной судьбы в личной жизни. Одновременно с этим, уверенность в своей некрасивости, ощущение вполне субъективное, может восприниматься как дополнительная мотивировка неудачи в личной жизни, которая как бы уже запрограммирована логикой развития мотивов. Мы видим, что внутри смыслового комплекса происходят процессы семантической индукции: на пересечении различных смысловых компонентов генерируются новые смыслы. Из проведенного анализа общий смысл текста можно сформулировать примерно так: "я избегаю вступать в отношения с людьми, которые могут привести к постоянным взаимоотношениям, в особенности, к браку, потому что я вообще не верю в возможность таких отношений, тем более для меня, при моей внешней непривлекательности, и все это приводит меня в отчаянье". Однако с еще большей очевидностью ясно, что такая формулировка далеко не передает всех оттенков смысла, всей сложности описанной семантической структуры. Подобно любому переводу, перевод с языка поведения, изоморфного по структуре устной речи, на язык иной структуры, язык письменной речи, оказывается далеко не адекватным. Это служит подтверждением мысли, уже высказанной в работах по устной речи, о том, что нелинейная структура — это не испорченный вариант стационарной структуры, известной лингвистам из изучения письменной речи, а принципиально иной способ построения текста и образования смысла, который имеет свои возможности, недоступные структурам типа письменной речи, и в этом своем качестве широко используется в культуре.

Однако смысл текста поведения не только не тождественен его передаче способами иного языка — он уникален и невоспроизводим даже в рамках той же структуры, структуры поведения. Поведение одного человека никогда не бывает тождественно поведению другого. Генерация смысла никогда не может быть воспроизведена полностью, потому что ассоциативные связи между различными, даже совершенно разнородными, элементами текста, в результате которых образуются все компоненты общего смысла, не ограничены; ни их характер, ни их число и направление не регламентированы и не предсказуемы.

Смысл в поведении носит принципиально открытый характер. Этим фактом объясняется бесконечное разнообразие и неповторимость структур личности. Один и тот же поступок, ситуация, реакция, симптом и проч. в каждой новой структуре (у каждого нового человека) вступают в иные связи, взаимодействуют с иными проявлениями, оказываются в иных контекстах и в результате приобретают совершенно иной смысл, реализуют иную семантику. Смысл каждого отдельного проявления индивида проясняется только из анализа всей структуры его личности, всего его поведения как целостного текста.

Чтобы нагляднее продемонстрировать эту последнюю особенность поведенческих текстов, приведем еще один пример. Е., молодой человек двадцати семи лет, сообщил о себе следующие сведения. Отец Е. женился на его матери поздно, и вскоре у них родился сын - Е.; непосредственно после его рождения отец перенес инсульт, вследствие чего он остался инвалидом, каким и помнит его Е. с раннего детства. Мать Е. была медсестрой и сама занималась уходом за отцом, так что атмосфера болезни и лечения характеризовала его дом в детстве. В детстве Е. страдал от того, что его отец был инвалидом, другие дети дразнили его из-за этого.

В этом первом, самом раннем слое детских впечатлений уже встречаются те элементы, которые в дальнейшем, в различных вариантах и сочетаниях, будут проходить через всю биографию Е. Сам по себе этот первоначальный набор элементов однако еще ничего не говорит нам о том, какую роль данные элементы будут играть в жизни Е. Их смысл будет выясняться по мере того, как эти элементы будут обрастать связями в развертываемом тексте поведения. Рассмотрим следующие стадии этого процесса.

Продолжая тему отношений с отцом, Е. далее рассказывает два эпизода, показывающих любовь отца к нему. Оба они связаны с новогодними подарками, которые он получал от отца, причем обе ситуации полностью повторяют друг друга по структуре: Е. входит в комнату, зная, что его ждет сюрприз, и видит под елкой, в первом случае, коробку дорогих шоколадных конфет, во втором - подарочное издание сказок Пушкина (тоже имеющее форму коробки). Затем он сообщает еще

один эпизод аналогичной структуры. Е. вместе с отцом возвращается домой с дачи, и мать предупреждает, что их ждет сюрприз. Они входят в комнату и видят большую "коробку" - телевизор. До этого, упомянул Е., телевизор был только у одного из соседей - инженера (для Е. это является высоким социальным статусом). Этот последний случай ("у нас телевизор не хуже, чем у инженера") сопоставляется с одним из предыдущих эпизодов - детским представлением о том, что его отец хуже, чем у других детей. В сопоставлении этих двух эпизодов выявляется инвариантный смысл - "соперничество" (стремление быть "не хуже, чем другие"). Надо заметить, что в представлении Е. отец был выше матери по социальному статусу, и в своей социальной роли Е. ориентировался на отца. Таким образом, второй из эпизодов соперничества (а именно, соперничество по социальной линии), тоже получает связь с темой отношений с отцом. То, что эпизод с телевизором, оказавшийся таким важным в смысловой структуре, по форме совершенно тождественен двум эпизодам с подарками, придает этим последним повышенное значение. В связи с этим можно ожидать, что эти эпизоды будут играть значительную роль в последующем развертывании структуры. Однако на данном этапе остается пока неясным, в чем будет состоять эта роль, то есть какая сторона их смысла окажется актуализованной.

Большое место в рассказах Е. занимает смерть отца, случившаяся, когда Е. было девять лет. В лето перед его смертью Е. жил на даче с отцом и друзьями родителей, с сыном которых он дружил. Е. вспоминает эпизод, когда он рассердил отца и тот ударил его по лицу. Вскоре отец заболел и уехал в город, а еще через некоторое время самого Е. внезапно повезли в город, объясняя это тем, что ему надо купить новую школьную форму. Однако, когда он вошел в комнату у себя дома, он увидел, что "сюрпризом", который он ожидал, оказался гроб с телом отца, который стоял на столе (своего рода большая "коробка"). Оставшись в комнате один, Е. открыл ящик стола, чтобы посмотреть, не оставил ли ему отец (как он делал обычно) там новых марок. Впоследствии он вспоминал об этом эпизоде со стыдом и воспринимал его как провинность по отношению к отцу.

В этом эпизоде отчетливо выступает на поверхность тема "вины перед отцом". На этом фоне та же тема актуализуется в ряде предыдущих эпизодов: стыд за отца-инвалида, воспоминание о заслуженной пощечине. В тот же ряд, благодаря формальной связи неожиданно обнаруженного в комнате гроба и эпизодов с подарками – сюрпризами ("коробками"), попадают и эти последние эпизоды, так что воспоминание о знаках любви и заботы отца усиливает чувство вины.

Е. сообщает, что его первым чувством после смерти отца была обида: "у других есть отец, а у меня нет". Этот элемент, с одной стороны, включается в мотив вины перед отцом, потому что вспоминается Е. как постыдная мысль. С другой стороны, он продолжает мотив соперничества (одна из его конкретных реализаций – мальчик, с которым они вместе жили на даче: у того есть отец, а у Е. нет). Изъясном Е. по сравнению с другими детьми, потенциальными соперниками, является сначала отец-инвалид, потом – отсутствие отца.

После смерти отца понизился материальный и социальный статус семьи, а следовательно и самого Е.; особенно это проявилось в том, что Е. пришлось отказаться от первоначального плана поступить в институт и стать инженером и вместо этого поступить в техникум, чтобы раньше начать получать деньги. При этом положение инженера, как мы знаем из сопоставления с эпизодом с телевизором, является для него знаком социального престижа.

В техникуме с Е. вскоре произошел следующий эпизод, оказавший большое влияние на его дальнейшую жизнь: однажды на перемене он боролся с приятелем и был побежден, причем "соперник" сказал о Е., так что его замечание слышали все присутствующие, включая девочек: "какой он противный, потный". Е. это было крайне неприятно. На следующий день в техникуме Е. вызвали к доске, и, вставая, он внезапно покрывлся потом. С тех пор эта особенность закрепилась за ним и стала существенным препятствием в его социальной жизни. Сам Е. утверждал, что внезапно потеет в любой ситуации, связанной с волнением. Однако перебор таких ситуаций позволил выделить инвариантную структуру: Е. потеет, когда он находится в ситуации, исход которой ему не совсем ясен ("сюрприз"). При первоначальном рассмотрении последней цепи эпи-

зодов остается неясным, каким образом потение, впервые возникшее в эпизоде с борьбой, передалось ситуации "сюрприза", поскольку эти две ситуации сами по себе не обнаруживают никакой прямой связи. Связь между ними выясняется только из анализа всей структуры, выступая через ряд посредствующих звеньев. Во-первых, идея соперничества, основная в эпизоде с борьбой, связалась со всем мотивом соперничества, а через него с темой отца, поскольку детские эпизоды соперничества были связаны с отцом. Как мы помним, эти эпизоды неизменно вызвали чувство неполноценности. Кульминацией чувства неполноценности явился эпизод с гробом (смерть отца и все ее дальнейшие следствия). Эпизод с гробом, в свою очередь, включен в цепь "сюрпризов". Таким образом в данной цепи ассоциаций ситуация "сюрприза" становится знаком темы неполноценности и неудачного соперничества. Другая цепь ассоциаций, также связывающая борьбу и ситуацию "сюрприза", проходит через чувство вины. Детское соперничество было вызвано стыдом за больного отца. Впоследствии этот стыд вызвал чувство вины, которое еще больше усилилось эпизодами с сюрпризами-подарками (знаками любви отца). Кульминацией этого чувства вины вновь явился эпизод с гробом. Таким образом, этот последний эпизод оказывается узловым пунктом, через который проходит несколько смысловых линий, образующих проанализированную выше структуру. Именно поэтому ситуация "сюрприз" стала болезненной для Е. и на нее замкнулся символ поражения — потение.

Рассмотрим теперь конкретные эпизоды, в которых проявлялась эта новая особенность Е. В первую очередь он назвал следующие три эпизода. Первый эпизод: он стоит перед дверью экзаменационной комиссии, которая должна присвоить ему более высокий разряд. Вторая ситуация: Е. должен войти в кабинет врача на освидетельствование. Третья: Е. стоит перед дверью квартиры, куда он пришел в гости на свадьбу друга. В первой ситуации актуализируется тема социальной неполноценности. Во второй — идея страха за свое здоровье, который вызван воспоминаниями о болезни и смерти отца. Причем, совпадение времени болезни отца с его женитьбой и с рождением сына приводит к ассоциации в сознании Е. идеи здоровья и представления о мужественности. Эта ассо-

циация реализуется еще в одном эпизоде: во время медицинской комиссии в военкомате у Е. внезапно поднялось давление крови (ср. инсульт отца) и он был признан негодным к военной службе. В свою очередь, это породило у него еще один пункт осознания своей неполноценности и проигранного соперничества: другие были в армии, а он нет, и в часто возникавших в компании сверстников разговорах об армии Е. чувствовал себя неловко. Общекультурное представление о военной службе как одном из естественных мужских занятий сделали эту тему еще одним компонентом в осознании мужской неполноценности. Эта тема мужской неполноценности продолжается в третьей из описанных Е. ситуаций: визита на свадьбу друга. Свадьба оказывается травматическим для него переживанием.

Е. рассказал, что отношения с женщинами складывались у него непросто. Он сравнительно поздно начал сексуальную жизнь и этому предшествовала серия неудач. Дважды при попытках познакомиться с девушкой он попадал в аналогичную ситуацию: удачно развивающееся знакомство прерывалось появлением "соперника", который ударял Е. по лицу. В этих ситуациях Е. немедленно отступал. Этот удар по лицу, связанный с пощечиной, которую когда-то дал Е. отец, приобретает для Е. особое значение: он становится знаком темы отца, то есть темы своей мужской неполноценности и вины. Это побуждает Е. в обоих случаях немедленно отступить, приняв как должное поражение в обычной уличной ссоре, которая могла бы закончиться и иначе (соперник не имел прямого отношения к девушке, выбранной Е.; в первом случае эпизод происходит на танцах, во втором - в ресторане). На такое поведение накладывається и общая болезненность для Е. ситуации соперничества. Когда же, в результате третьей попытки, Е. все же удалось завоевать женщину, он оказался сексуально несостоятельным. Поражение уже как бы запрограммировано заранее. Любопытно, что Е. подчеркивает высокий в его понимании социальный статус женщины (учительница). Его несостоятельность и поражение таким образом включаются в общую структуру: поражение в соперничестве с партнером, по линии мужественности и социальной неполноценности, идущие от детских отношений с отцом.

Итак, поведение имеет определенную структуру - систему связей между различными элементами и семантическую интерпретацию этих связей. Человек может сознательно видеть и описывать эту структуру, как это бывает при психологическом анализе и при самоанализе, но может и ничего сознательно не знать о ней. От этого, разумеется, не зависит его способность порождать и понимать поведенческие тексты. Как и в естественном языке, в поведении возможно интуитивное владение структурой. Так большинство носителей языка, не испытывающих трудностей при пользовании им, ничего решительно не знает ни о грамматике, ни о семантике, ни о каких других свойствах структуры данного языка. Как показала теория генеративной грамматики, владение языком основывается на общечеловеческой способности к языку (глубинной структуре языка). Но эта общечеловеческая способность облекается в систему конвенциональных правил (грамматики), без знания которых (как сознательного, так и интуитивного) невозможно ни построение, ни понимание текста. Эти конвенциональные правила составляют поверхностную структуру языка. Таким образом, порождение текста на естественном языке представляет собой трехтактный процесс: глубинная структура - поверхностная структура - текст. Этот тезис полностью применим для письменной речи и частично - для устной. В построении устной речи грамматика данного языка, общая как для письменной, так и для устной его разновидности, конечно, играет определенную роль. Однако это не единственный механизм, структурирующий устную речь и участвующий в образовании ее смысла. Общий смысл устного текста может быть реконструирован только из сети ассоциативных наложений и свободных сопоставлений любых его участков. Таким образом, в построении и распознавании устного текста участвуют два принципиально различных механизма.

Аналогичную картину представляет собой процесс порождения и распознавания структуры поведения. С одной стороны, важную роль в этом процессе играют свободные сопоставления и ассоциативные наложения различных компонентов. В этой своей части процесс структурирования поведения непосредственно опирается на общечеловеческую способность к распознаванию и отождествлению образов; все связи в тексте строятся

на основе того, что мы интуитивно отождествляем один феномен с другим. Может показаться, что процесс структурирования текста поведения этим исчерпывается и что не существует конвенциональной грамматики, владение которой было бы необходимым для осуществления данного процесса. Именно эта сторона процесса описывалась до сих пор в нашей работе. Принимая в качестве предварительной гипотезы такую интерпретацию, можно сказать, что в отличие от порождения речи, порождение текста поведения представляет собой двухтактный процесс: глубинная структура - текст. Причем под глубинной структурой в данном случае понимается способность к отождествлению вариантов и к ассоциациям. Отсутствует промежуточное звено - поверхностная структура, то есть система конвенциональных правил, через которую первичная структурирующая способность реализуется в тексты на естественном языке. В этом смысле любой текст поведения в принципе может быть понят без предварительного знания конвенциональных правил, которое необходимо для понимания текста на естественном языке. Однако предложенная схема не покрывает всего процесса. На практике часто приходится встречаться с трудностями, которые возникают при восприятии поведения человека, принадлежащего к иной культуре. Основной смысл поведения, как правило, остается понятен, но многое в поступках "иностранца" будет не замечено или неправильно понято. Это связано с тем, что в определенной мере поведение индивида строится в соответствии с более общими схемами и принципами, сформированными и заданными культурой. Так, каждая культура предписывает определенную манеру держаться, одеваться, речевой этикет и т. п., а также штампы поведения в сфере взаимоотношений с людьми, принципы построения биографии, систему социальных ролей и проч. Такие схемы поведения, которые в известной мере обязательны для носителя культуры и, главное, необходимы для правильного понимания целого ряда проявлений, составляют своего рода грамматику поведения. Такая грамматическая структура, следование конвенциональным правилам играют в поведении относительно подчиненную, локальную роль и явно покрывают только часть текста. Подобно этому, и в структуре устного текста элементы структурирования, характерные для стандартной формы языка, играют лишь частную и

Вспомогательную роль. Однако именно эти элементы, будучи хорошо знакомы исследователю, прежде всего бросаются в глаза при анализе данного явления, в связи с чем для первоначальных этапов изучения устной речи было характерно стремление представить ее в параметрах грамматики, выработанных для описания письменной речи. Точно так же при анализе поведения исследователями прежде всего обращалось внимание на те элементы поведенческой "грамматики", которые были упомянуты выше.

Так, психоанализ полностью структурирует личность по принципу грамматики, предполагая, что она строится в соответствии с априори данными схемами. В качестве грамматики предлагаются параметры построения поведения (распределение ролей в семье, отношение к сексу, структура социума и т.д.), работающие для носителей определенной культуры. В рамках данной культуры эти параметры действительно работают, но следование системе правил структурирует только часть текста поведения, не отменяя основного принципа нелинейности, открытого смысла и вытекающей из них уникальности текста поведения. В психоанализе поведение рассматривается как текст, по структуре аналогичный письменному. Между тем, поправка на существование в поведении локальной, подчиненной системы грамматических правил (культурных схем поведения) делает аналогию поведения и устной речи еще более полной. В построении поведения, как и в построении устной речи, действуют два различных механизма, роль которых не равноценна: грамматическая структура (следование системе априорно известных конвенциональных правил) и, более важная, свободная оссоциативная структура. В этом смысле каждый поведенческий текст и каждый устный текст — уникален, ибо он невоспроизводим. отождествление таких текстов с их грамматической частью ведет к искажению их смысла. Такое искажение смысла имеет место при передаче устной коммуникации средствами письменного языка и при анализе поведения методами психоанализа.

Не менее очевидна аналогия между поведением и художественным текстом, структура которого уже сопоставлялась

со структурой устной речи.¹⁰ Их объединяет целый ряд общих признаков. Так, в структуре художественного текста большую роль играет действие механизма многосторонних связей, в результате чего возникает заведомо неисчерпаемый и невоспроизводимый смысл художественного произведения. В художественном тексте легко достигается многоканальность: например, вербальная последовательность и ритм в поэтическом тексте, совмещение вербального текста и музыки, изображения, драматического действия и т.д. Общая гетерогенность художественного текста обеспечивается при помощи прямой речи, персонажей, цитации и т.п. Обращает внимание обилие приемов создания нелинейной структуры: нелинейное разворачивание сюжета, сложная техника повторов ("мотивная работа"), смена временных и пространственных пластов, объединение нескольких текстов в единый текст и проч.

Аналогии между структурой текста поведения, структурой устного и художественного текста позволяют включить поведение в сферу семиотических исследований и использовать принципы описания, выработанные для анализа устной речи и художественных текстов, понимаемых как нелинейная структура, для моделирования поведения. Семиотика первоначально исходила из представления о том, что различные явления культуры можно рассматривать как тексты, аналогичные по структуре текстам на естественном языке. Возникшая в лингвистике 70-х годов идея о принципиальном различии структуры письменной и устной речи уточнила это представление. В семиотике был выдвинут тезис о существовании в системе культуры двух принципиально различных механизмов, порождающих тексты двух разных типов: один тип аналогичен структуре письменных текстов, другой — устных.¹¹ Такой подход позволил не только расширить сферу применения семиотических методов, но и повысить степень адекватности описания таких текстов, как устная речь и поведение.

¹⁰ Гаспаров, с.106-108.

¹¹ См. Ю.М. Лотман. Устная речь в историко-культурной перспективе. В кн.: Семантика номинации и семиотика устной речи. Лингвистическая семантика и семиотика I, Тарту, 1978, с.113-121.

ЛОГОНЕВРОЗ КАК МОДЕЛЬ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СЕМИОЗИСА УСТНОЙ РЕЧИ

Л.М. Козьмь

В научном описании нередко имеют место ситуации, когда анализ феноменов, характерных для наличия выраженных отклонений от нормального функционирования некоторого явления, позволяет лучше понять сущность этого явления в целом и тем самым служит эффективным средством его изучения. Происходит это потому, что при нормальной реализации явление привычно воспринимается как функционально-неделимое целое и с трудом поддается расчленению, в то время как в отклоняющемся от нормы феномене яснее выступают составляющие его процессы. Кроме того, парциальное заострение, утрировка тех или иных сторон явления, сопровождающие отклонение от нормы, способствует более ясному проявлению и осознанию этих сторон.

Для иллюстрации данного общего положения достаточно вспомнить, какое большое значение для понимания механизма речи в целом имели работы по исследованию афазии (1).

Аналогично, для изучения специфических свойств устной коммуникации может оказаться полезным обращение к тем явлениям, в которых наблюдаются те или иные нарушения нормальных условий устной коммуникации. Феноменом такого рода следует признать группу явлений, объединяемых понятием логоневроза (заикание). Заикание представляет собой довольно распространенное явление — отмечается у 1,5 — 2,5 % населения. Несмотря на обширность литературы, посвященной этой проблеме (2-5; 10), не существует единого мнения, "что это такое". Заикание обычно определяется как нарушение темпа и плавности речи. Внимание исследователей часто обращается также на фрустрирующую роль данного нарушения для личности. В разных исследовательских подходах акцент в изучении делается на собственно речевых затруднениях (речевых паузах, судорогах, особенностях артикуляции, дыхания), сомато-вегетативных проявлениях заикания (определяемых клинически и параклиническими методами); изучаются также клинико-психи-

атрические и социально-психологические особенности страдавшего логоневрозом. Для сознания коммуникация маркирована прежде всего смыслообразующей ролью вербального канала.

Обратимся к особенностям коммуникации при заикании. Заикающийся не любит свою речь, как правило, преувеличивает степень своего речевого дефекта, стремится скрыть свои речевые трудности от окружающих, преувеличивает внимание окружающих к особенностям своей речи. Сознательные и неосознательные тенденции заикающегося направлены на то, чтобы уменьшить речевой дефект (хотя бы символически), локализовать его. Таким образом, имеется тенденция "не видеть" в собственном коммуникативном акте то, что только можно не увидеть. Видимо поэтому заикающийся исключает для себя невербальную сферу коммуникации более, чем обычно.

Феноменология коммуникации при заикании чрезвычайно разнообразна и, по нашему мнению, во многих случаях не позволяет объяснить ее исходя из собственно речевого дефекта. Представляется, что в ряде случаев первично именно нарушение коммуникативной способности, частичным проявлением которого служит заикание, - последнее составляет "фасад" явления, но отнюдь не само "здание" и не его "фундамент". В этом случае следует думать, что факторы, вызывавшие нарушение способности к коммуникации (от аутизма до заикания), нам неизвестны, а в большинстве случаев имевшая место в начале заикания психотравма является лишь разрешающим "пусковым механизмом".

Известно, что человек воспринимает другого в присущих ему самому категориях. При познании другого человека существует значительное сходство между познаваемым и познающим Я (II). Познающий использует все, что он знает о самом себе. Так и нежелание замечать что-то в себе приводит к игнорированию этого же явления у других людей. Это общее положение в полной мере относится к большему, чем обычно, игнорированию заикающимся невербальных проявлений, которые используются при коммуникации другими людьми.

Субъективно легче связать нарушение коммуникации с внешними причинами, более поверхностными для личности, чем затронутость глубоких "почвенных" механизмов. Как правило, возникновение заикания соотносится с испугом или другим - внешним, простым и психологически ясным событием, которое

воспринимается как нечаянная случайность, вызвавшая испуг. Это переносит ответственность на обстоятельства — тем самым снимая ее с особенностей собственно личности. Ведь проще видеть заикание как болезнь, чем задумываться над ограничениями собственных возможностей в коммуникации — в частности — ограничениями в возможности адекватного самовыражения и восприятия.

При длительной сознательной и несознательной тенденции заикающегося уменьшить "раневую поверхность" дефекта, "свернуть" его, скрыть — именно невербальная сфера коммуникации оказывается в положении "золушки". Однако, в действительности, устранить невербальные аспекты не удастся. Происходит рассогласование, расслоение коммуникативного акта как единого целого. Становятся заметными, утрированными частные особенности коммуникации, незаметные в норме. При этом удается яснее проследить каналы развертывания и функционирования устной речи. Трудности в использовании мелодического, визуального, спационального канала обычно не одинаковы у разных больных, что позволяет наблюдать большой континуум разных форм и степеней дезавтоматизации коммуникативного акта и утрированного использования различных каналов коммуникации.

Представляется, что именно семиотический подход к явлению заикания приводит к возможности построения наиболее адекватной методики психотерапии, в которой эта "глубинная" природа заикания была бы соответствующим образом учтена. Конкретнее, необходимо учесть, что 1) в коммуникативном акте участвуют кроме вербального и иные каналы связи (6); 2) общение предполагает создание определенных "коммуникативных портретов" отправителя и получателя и установление понимания между отправителем и получателем; 3) потребность в коммуникации является одной из первичных человеческих потребностей, сопоставимых в каком-то смысле с первичными человеческими инстинктами (напомним, что само формирование человеческой личности неразрывно связывается с актом общения); 4) осуществление акта коммуникации, при условии выполнения определенных постулатов коммуникации, может создавать эффект "коммуникативного удовольствия"; 5) и, наконец, "общение" в акте коммуникации является, помимо прочего, актом самовыражения.

Нашу задачу мы видели в том, чтобы развить и вывести

наружу те заложенные в заикающихся с способности, которые сделали бы их, так сказать, полноценными участниками акта коммуникации во всех его составляющих - в качестве отправителей и получателей ей, в плане использования разных каналов связи, наконец, в плане порождения и принятия смысла сообщения.

Мы отмечали, что наряду с вербальным, в акте коммуникации участвует визуальный канал связи. Одно из проявлений комплексного характера заикания можно видеть в том, что визуальный канал связи не остается незатронутым. Характер изменений чрезвычайно симптоматичен. С одной стороны, заикающиеся как будто педалируют те стороны произнесения, которые видны со стороны (выпячивание губ и т.п.). Но одновременно с этим поведение заикающихся в этой сфере с несомненностью обнаруживает их ненастроенность на акт общения, это своего рода самообщение, без учета реакции получателя. Вот выдержки из магнитофонной записи групповой дискуссии заикающихся о замеченных ими особенностях характера и направления взгляда у членов группы: "У А. во время разговора глаза неподвижны, широко открыты, иногда обращены на собеседника. В них можно прочесть удивление или немой вопрос. ... При разговоре он старается избегать смотреть в глаза собеседнику, как будто считая это неприличным. Если и заставляет себя это делать, то долго не выдерживает и отводит взгляд в сторону. ... Ты глаза обычно поднимаешь кверху. ... На трудном слове С. застывает и плотно закрывает глаза. При этом нижняя губа энергично двигается, то выпячиваясь, то поднимаясь. Потом, как будто что-то вспомнив, он неожиданно открывает глаза - и на тебе - слово вылетело. Создается впечатление, что глаза он открывает на определенное время для разговора, чтобы сказать несколько слов и снова закрыть их. Как кукушка на часах. ... Во время разговора он не избегает зрительной связи с собеседниками, но иногда он смотрит в пустое пространство, в окно. Глаза при разговоре у него неподвижны, широко открыты. ... Когда он разговаривает, то неорывно смотрит в глаза собеседника. Кажется, что он заглядывает дольше дозволённого приличием. При этом глаза его остаются бесстрастными, неживыми. ... Когда он произносит трудные слова, у него хмурятся брови, взгляд становится более калким. ... Во время разговора я избегал смотреть в лицо собеседника,

глаза кружились вокруг лица или изредка скользили по нему. ... Он, подходя к прохожим, отводит глаза в сторону и начинает что-то спрашивать".

Таким образом, коммуникация при заикании как будто искусственно частично свернута, формализована. Прибегнув к сравнению, можно сказать, что заикающийся поступает как художник, использующий лишь одну краску при потенциально сохраненной возможности использования всей палитры. Имеющиеся ограничения в коммуникативном самовыражении не являются органическими, жестко закрепленными. Это дает возможность за ограниченное время наблюдать развертывание потенциально имеющихся возможностей к коммуникации, развертывание ранее скрытой экспрессии, ее углубление и дифференциацию. Это, как представляется, делает и сам процесс соответственно ориентированной психотерапии интересным естественным экспериментом по наблюдению за особенностями устной коммуникации.

В основу проводившейся системы психотерапии были положены методики групповой недирективной психотерапии (7;8;12).

В начале занятий целесообразным представляется создание условий, в разных, частных отношениях утрирующих коммуникативный акт. При этом высвечиваются особенности его протекания у данного лица, которые и делаются безоговорочно очевидными для самого заикающегося. На первом этапе занятий особое значение придается невербальным особенностям коммуникации и невербальному тренингу. Больной ставится в условия, когда, во-первых, он вынужден активно участвовать в коммуникации с партнером, во-вторых, выключен вербальный канал. Например, для коррекции визуального канала заикающемуся предлагается самостоятельная работа с зеркалом: наблюдение своего лица при различных, вызываемых эмоциональных состояниях, мимическая гимнастика, соответствие мимики интонированию задаваемых фраз: вырабатывается умение фиксировать глаза на собеседнике, переводить с собеседника на собеседника и т.п. Соответствующие упражнения проводятся в группе: двое ведут диалог через прозрачное, звуконепроницаемое стекло; двое пантомимически разыгрывают заданную оценку, другие двое озвучивают ее на них; следует передать сидящему рядом с помощью жестов и мимики какое-то чувство, необходимо понять, что это за чувство и передать дальше

любим другим способом и т.п.

Не менее важна коррекция мелодического канала (отработка и пробы интонирования речи, коррекция динамики и темпа, "раскрепощение" мелодики, поиск тембра, постановка плавности и слитности и т.д.), а также специального канала (отработка умения находить правильное расстояние между собеседниками). Другой вид упражнений направлен на раскрытие личности участников группы через двигательный канал, через движение. Это - выявление себя в танце (одиночном, заранее заданном, импровизированном). Все виды упражнений связаны с последующим обсуждением того, какое знание о личности участников группы было при этом получено. Приводим выдержки из этих дискуссий: "... я вдруг стала замечать у кого какая мимика. ... Я вдруг почувствовал свои манеры при упражнении с толстым стеклом. ... Раньше я не задумывался, смог ли бы передать таким образом что-нибудь, я думал такой контакт - очень просто - оказалось, что нет. ... Я отчетливо ощутил скованность в простых ситуациях, которой от себя не ожидал. ... Я стал замечать свойства характера, которые проявляются в том или ином движении."

Важно подчеркнуть, что цель упражнений, нацеленных на частные дефекты коммуникативного акта при заикании, состоит отнюдь не в том, чтобы создать некий шаблон речевого поведения, а в том, чтобы вызвать ощущение богатства возможностей устной коммуникации, вызвать потребность использования невербальных каналов, расшатать ставший привычным стереотип общения, создать опорные навыки, которые должны помочь найти свое лицо в общении и сделать его как можно более индивидуальным. Последнее особенно важно в силу явно выраженной у заикающегося тенденции формализовать свою речь, сделать ее как можно более официальной, т.е. фактически уйти от устной речи к использованию коммуникации с особенностями письменной речи. Эта тенденция проявляется в явном виде и при ликвидации собственно речевых затруднений (например, после сеанса императивного внушения), что, возможно, и приводит к рецидиву.

Представляется чрезвычайно важным создание у участников группы адекватного представления о собственной мимике, моторике, жестикуляции, мелодике, более ясное осознание своих эмоций, потребностей и проблем, то есть создание как

можно более полного и дифференцированного личностного и коммуникативного портретов. Еще раз подчеркнем, что при этом имеется в виду не только индивидуальные построения, а и ощущения и переживания. Создание адекватного портрета естественно приводит к формированию адекватного представления о себе¹.

По мере саморазвития группы, независимо от того, что ставится в поле ее зрения - танцы, проблемы личности, особенности экспрессии, коммуникации и т.д., увеличивается интенсивность и глубина проникновения в обсуждаемое. Также дифференцируются и углубляются ощущения и самопроявления. Для нас чрезвычайно важно, что при обращении к собственной речи естественно происходит связывание ее особенностей с другими проявлениями личности, с коммуникацией в широком смысле. Приведем выдержки, сгруппированные для нескольких участников - из дискуссии об особенностях речи, которая проводилась в конце психотерапевтического курса: из них как раз явствует, как много "услышали" члены группы друг в друге и как много сумели понять - как на уровне собственно речевого поведения, так и на более глубинном личностном уровне. О речи В.: "У него речь взрывная, нервная, порывистая... Он должен вылить все, что у него есть... То бурная, то тихая ... начинает говорить неуверенно ... похоже на пульсирующий заряд - то вверх, то вниз ... вспышка речи - как бурный поток ... если бы поставить индикатор, стрелка бы все время колебалась из стороны в сторону ... Речь - как пулемет - то строчит короткой, то длинной очередью и каждый раз по-разному - то мелко, то крупнокалиберными... речь слишком отчетливая и жесткая, не ощущается плавности и нежности. Отдает чем-то металлическим, хотя довольно богатые интонации". О речи Б.: "Речь без интонации, монотонная,

¹ По данным американских исследователей социальной перцепции (13), "люди с адекватным представлением о себе обладают также положительной самооценкой, развитым чувством самоуважения и собственного достоинства, способностью к более полному самовыражению, развитой способностью к самоконтролю, уровнем притязаний, соответствующим их реальным возможностям. Очень важной особенностью людей с адекватным представлением о себе является уравновешенность и стабильность их личностных характеристик. Люди с адекватным представлением о себе хорошо адаптированы к своей социальной среде, реалистически рассматривают себя и других и способ-

мские сравнить с прямой линией ... Взволнованная, как будто боится пропустить какое-либо слово. Выдает все в одной взволнованной неуверенной в себе интонации... Боится, что чего-то не скажет, и очень торопится ... В речи скованность как в движении... Ровная и неуверенная - как будто ровная стена, а в ней много всяких мелких канавок. Можно споткнуться, но не глубоко упадешь ... Очень быстрая речь - как будто хочет опередить свои мысли." О речи В.: "Извиняющаяся интонация ... Разорванная, с чувством неуверенности ... Нажимает на свой голос ... Голос человека, который крадется на охоту в потемках - все проверяет, все трогает ... Заранее думает, о чем он будет говорить, поэтому нет естественности ... Речь осторожного человека, как будто он боится кого-нибудь обидеть... Иногда делается плаксивое лицо и появляется детская интонация".

Осознание пациентами разных сторон коммуникативного процесса - коммуникативная "готовность" отправителя - внутренняя гармонизация, использование разных каналов связи; настроенность на получателя, проявление личности в общении, удовольствие от общения - можно видеть в следующей выдержке из "заключительного сочинения" пациентов: "... Теперь, при беседе, я чувствую себя спокойным, исчезла скованность, напряжение; ... раньше я не испытывал удовлетворения от общения и чуть что - уходил в себя, теперь я понял, что заканье для меня было не так уж важно - главное было - неумение связываться с людьми; ... у меня появилась иная манера речи - спокойная, мягкая, темп речи замедлился, резко снизилось общее напряжение, исчез мелочный самоконтроль. Я стал жизнерадостнее, мягче и глубже в общении; ... Я научился говорить не только словами, но и мимикой, жестами, манерами, дыханием, напряжением мышц, внутренним состоянием... В наших занятиях я убедился, что если я вижу многое иначе, чем другие, то следовательно, и на все вещи я могу и должен смотреть по-своему. Раньше, как ни странно, я так не считал. Я цеплялся за взгляды более опытных, активных людей сформулировать наиболее правильное представление о другом человеке. Одним из проявлений лучшей адаптации к среде является также способность к большей дифференциации при описании других людей."

дей и все время ощущал на себе их тяжесть, потому что мое личное и их мнение незаметно для меня боролись между собой, а эта вечная борьба сказывалась на моей уверенности в себе. В настоящий момент у меня появилось личное мнение...".

Несколько слов о ритме – как наиболее типичном инструменте логопедической практики. При развитии заикания тонические и клонические судороги являются альтернативными, взаимоборющимися силами. Заикание бывает в большинстве случаев смешанного тоноклонического типа и, фактически, является равнодействующей различно направленных сил (напряжений), противодействующих и мешающих друг другу. Усиление тонических и клонических напряжений как бы взаимопотенцируется – образует замкнутый патологический круг, результатом которого является заикание. Ритм как бы снимает эту ставшую привычной борьбу, размыкает этот замкнутый круг. На него отвлекается внимание, и он представляет собой стержень, на который накладывается речь. Кроме того, ритмизованная речь является речью экстернизированной. Представляется, что функционально ритмизованная речь может быть сравнима со счетом с помощью палочек у некоторых племен первобытной культуры (9), то есть образование нового для заикающегося навыка в речи происходит через возвращение к экстернизированной речи.

В связи с обсуждавшимися в статье вопросами представляется целесообразным сделать в конце несколько замечаний по поводу некоторых особенностей традиционного собственно-логопедического подхода. В практике повседневной работы логопеда сознательные усилия концентрируются преимущественно на коррекции собственно произнесения – то есть добиваются ясности, слитности и плавности речи. В поле зрения постоянным ориентиром-индикатором является четкое функционирование вербального канала. Внимание уделяется созданию ритмизованной речи, дыханию, особенностям звукоподачи, далее переходу на эталоны, формулы плавной речи и т.д. Естественно, жесткий, машинный ритм постепенно смягчается, редуцируется, применительно к нему корректируются интонационные аспекты – но лишь как вспомогательные, соподчиненные с основной логопедической задачей – сделать ясной произносимую речь. Этот "короткий путь" и "точный прицел" считаются единственно верными в логопедическом аспекте проблемы.

Основная смыслообразующая роль вербального канала безоговорочно принимается логопедом, и задача считается выполненной, когда появляется так называемая "спокойная речь" без заикок и судорог. Однако, как представляется, при этом как бы формируется один искусственный навык в отрыве от действительных составляющих коммуникации устной речи. Усилия логопеда фактически направлены на постановку письменной речи с ее особенностями - без дифференциации особенностей, типичных для протекания устной речи. Во всяком случае такова реконструируемая сознательная установка. В то же время важно отметить, что как бы хорошо не были отработаны с пациентом собственно логопедические навыки, они, как правило, не становятся постоянными и работающими в обычной, житейской ситуации без так называемой функциональной тренировки. Вылечить заикающегося, даже кратковременно, не прибегая к "коммуникативному тренажу", не представляется возможным. Представляется, что именно при функциональной тренировке и происходит коррекция собственно коммуникации при устной речи. Можно думать, что чем больше параметров собственно устной коммуникации фактически - не формально - учитывается, чем более естественно и подробно производится их коррекция, тем большая гарантия успеха. Думается, что осознание истинной роли этой части логопедической работы, ее особенностей чрезвычайно важно для страдающих логоневрозом.

Коррекция одного собственно вербального канала коммуникации оказывается недостаточной, чтобы удержать новый стереотип общения - адекватное использование устной речи. Эффект достигается лишь при более цельном, полном учете каналов и сторон коммуникации, опоре на новые навыки их использования. Таким образом, феноменологически наблюдаемая оппозиция использования устной - письменной коммуникации у заикающихся является более явной, чем в норме коммуникации, что вполне оправдывает интерес к логоневрозу как модели для изучения семиозиса устной речи. Исследование заикания в семиотическом плане представляет интерес как собственно для практики лечения этого недуга, так и для теории семиотики и языкознания.

В дальнейшем представляется необходимым комплексный эксперимент с участием психотерапевтов и лингвистов-семио-

тиков, в котором последовательно прослеживалась бы динамика изменений в "коммуникативной личности" заикающегося и изменений в собственно речевой сфере с установленным дальнейшими корреляций между процессами регенерации (а иногда и формирования) разных каналов, разных сфер акта общения.

Л и т е р а т у р а

1. Jakobson R. Child Language, Aphasia and Phonological Universals. The Hague, 1968.
2. Данилов И.В., Черепанов И.М. Патопсихология логопезрозов. Л., 1970.
3. Казаков В.Г. Клиническая характеристика больных с затяжными формами заикания. Авт.канд.дисс.,М., 1973.
4. Сикорский И.А. О заикании. М., 1889.
5. Шкловский В.М. Психотерапия в комплексной системе лечения логопезрозов. В кн.: "Руководство по психотерапии" М., 1974, с. 147.
6. Гаспаров Б.М. Устная речь как семиотический объект. В кн.: "Семантика номинации и семиотика устной речи". Тарту, 1978, с. 63-112.
7. "Групповая психотерапия при неврозах и психозах". Л., 1975.
8. "Психотерапия при неврозах и психических заболеваниях". Л., 1973.
9. Леви-Брюль К. Первобытное мышление. М., 1930.
10. "Заикание". Под ред. Н.А. Власовой, К.Л. Беккер. М., 1978.
11. Festinger L.A. Theory of Social Processes. - "Human Relations", 1954, vol.7, pp. 117-140.
12. Rogers C.R. Client - Centered Therapy. Boston, 1951.
13. Shranger I.S., Patterson M.B. Self-Valuation and the Selection of Dimensions for Evaluating Others. - "Journal of Personality", 1974, vol.42, pp.569-585.
14. Altrocchi J. Interpersonal Perceptions of Repressors and Sensitizers and Component Analysis of Assumed Similarity Scores. - "Journal of Abnormal and Social Psychology", 1961, vol.62, pp.528-534.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Ш е л я к и н М. А. Ситуативность устной речи как фактор нейтрализации грамматических значений ..	3
Г а с п а р о в Б. М. О некоторых тенденциях развития мелодики русской речи	25
З л а т о п о л ь с к и й Ю. М. Динамические характеристики вставных конструкций в сопоставлении с обособленными второстепенными членами, асиндетоном, гипотаксисом и паратаксисом (на материале русского языка)	47
Г и н з б у р г Л. Я. Устная речь и художественная проза	54
Р е в з и н а О. Г. Некоторые особенности синтаксиса поэтического языка М. Цветаевой	89
Л о т м а н Ю. М. К функции устной речи в культурном быту пушкинской эпохи	107
И в а н о в Вяч. Вс. Нейросемиотика устной речи и функциональная асимметрия мозга	121
П а п е р н о И. А. Структура устной речи и проблемы моделирования поведения	143
К р о л ь Л. М. Логоневроз как модель для изучения семиозиса устной речи	164

Ученые записки Тартуского государственного университета.
Выпуск 481. СЕМИОТИКА УСТНОЙ РЕЧИ. Лингвистическая семантика и семантика II. На русском языке. Тартуский государственный университет. ЭССР, г. Тарту, ул. Кликсоли, 18. Ответственный редактор М.А.Шелякин. Сдано в печать 5.01.79.. Бумага печатная 30x45 1/4. Печ. листов II,0. Учетно-издат. листов IO,56. Тираж 700. МВ 01007. Типография ТГУ, ЭССР, г. Тарту, ул. Пялсона, 14. Зак. № 5. Цена I руб. 60 коп.

I руб. 60 коп.

TÜ RAAMATUKOGU



1 0300 00341049 7